

Книжная полка Вадима Левенталя

Павел Крусанов

Все рассказы

ИД «Флюид ФриФлай»

2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6

Крусанов П. В.

Все рассказы / П. В. Крусанов — ИД «Флюид ФриФлай»,
2020 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-907220-32-4

В настоящей книге собрана малая проза Павла Крусанова («Укус ангела», «Бом-бом», «Американская дырка» и проч.) — писателя, без которого невозможно представить себе современную русскую литературу, да и русскую литературу вообще. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907220-32-4

© Крусанов П. В., 2020
© ИД «Флюид ФриФлай», 2020

Содержание

Уездное	5
Самострел	5
Жаркий июль	13
Одна танцюю	19
Бутерброд для Нади	29
Знаки отличия	35
Бессмертник	35
Сотворение праха	46
Тот, что кольцует ангелов	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Павел Крусанов

Все рассказы

Уездное

Самострел

Истории разносила по городу Лукешка. Рассказывать она умела пестро – с её языка, через исконную бабью говорливость, рацеи вмиг облетали окрестные завалянки, рынок и лавки, за день рассасываясь по всем закоулкам простолюдной Мельны. Дальше, из кухонь и людских, рассказы тянулись в господские столовые, потешая в обеденный час отцов семейств, родню и домочадцев. Но у барских самоваров уже не знали, что главная заслуга в том удовольствии, какое подавалось за чаем вместе с вареньями и калачами, принадлежит тридцативосьмилетней незамужней бабёнке – Лукерье.

Лет пятнадцать Лукешка служила кухаркой в семье городского врача – чухонца по отцу – Андрея Тойвовича Хайми. Так что Сергея Хайми – сына Андрея Тойвовича и бедной дворянки Елизаветы Скорпиной – она знала практически с рождения.

Рассказывалось, будто Серёжа с самого своего появления на свет был до странности невезуч: ещё в младенчестве он умудрялся так давиться молоком кормилицы, что, для прочищения дыхания, его приходилось переворачивать вниз головой и трясти, словно солонку над стряпнёй. Рассказывалось, будто ребёнком во сне он часто шевелил ушами, и однажды игривый домашний кот кинулся в его постель и, спящему, прокусил мочку, оставив на всю жизнь два вздутых рубца. Рассказывалось также, будто – уже гимназистом – на охоте он подстрелил собственную лошадь, по рассеянности спутав несчастную животину с сохатым.

Со временем обывателей перестало удивлять роковое невезение молодого соседа, оно перешло в обычное состояние его дел и, став будничным явлением, сделалось привычным, что почти равно необходимому. К нему относились с сочувствием, даже после этой, последней истории: ведь страдал он и терпел от случая не по личной вине, была, значит, на то злая судьба, а обиженного судьбой пожалеть – благочестие. К тому же был он юн, воспитан, читал книги и не распутничал в духе нового века, а то, что был горяч и судил власти, так со временем эта блажь выходит, как пузырьки из сельтерской.

Весной 1908 года Сергей заканчивал шестой класс гимназии – тогда-то мы и услышали о нём последнюю историю, где невезение сыграло с ним поистине счастливую шутку. Так что уместнее, пожалуй, назвать это везением.

Начинала Лукешка обычно с ругани:

– Случилось всё из-за той дерьмовки – дочери трактирщика Зозули, чью кухню моему барину следовало бы прописывать болящим вместо слабительного.

Девуцу звали Катерина. Лицом она была – рождественский херувим, но головой пошла в папашу и, кроме куриных мозгов, имела такую натуру, что сама под первого петуха сядет и хвост растопырит без лишнего кудахтанья. А охотников до её красоты было столько, что если бы все они разом провалились в геенну огненную, то двое из трёх мельновских портных пошли бы по миру, ввиду пропажи спроса на брюки.

– Словом, – говорила Лукешка, – скажу: кто из здешних парней её в кусты не таскал, так такого днём с огнём не сыскать, разве только наш барчонок.

По улице Катерина ходила в шляпке с вуалью и под белым зонтом, так что какой-нибудь проезжий, пожалуй, принял бы её не за простую мещанку, а за самолучший товар – первую

невесту. Однако в городе каждый ярыжка знал, что если у ней передок взыграет, так она забудет про зонтик и шляпку и за нуждой ей сгодится кто угодно, какой ни на есть последний забулдыга, лишь бы справлялся с кобелиным делом.

В эту самую раскрасавицу и угораздило влюбиться барчонок, когда тому только шёл семнадцатый год. Всмотрел он её, должно быть, в церкви, куда та являлась со своим зонтом, точно на лодочную прогулку, в других местах (кроме дома, гимназии и церкви) барчонок просто не бывал, так что вполне мог сойти за проезжего. Имея при всём прочем романтическую натуру, Сергей накрутил в мыслях невесть что – усмотрел под вуалью кротость, в глазах – чистый родничок, навесил ей нимб, как всамделишному херувиму, – а после стал сохнуть по этой сказке и в конце концов зачах, словно не просто тосковал по зозулинскому чаду, но и питался на его кухне.

– Ей-богу, барчонок стал похож на пересохший горох – выпадал из собственной кожи!

На ночь он перестал гасить лампу, просиживал в своей комнате с огнём до самого утра. И с учёбой у него пошли нелады – учитель истории Лесников жаловался папаше при встрече на рассеянность молодого Хайми; а раза два его видели по утрам вместо гимназии в Заречье около зозулинского дома, где он вытапывал георгины в палисаднике, примеряясь украдкой сунуть в окошко какую-то синюю бумажку.

Дальше – хуже: перестал спорить с родными о столичных новостях, молчал, даже если при нём заговаривали о Столыпине. Дома, за обедом, начал через раз носить ложку мимо рта и отзывался, если только над ухом протрубить иерихонским манером. Одним словом, сделался барчонок сам не свой, и не заметить это мог только Юшка-Лыко, который глух, нем и с бельмом на одном глазу (но при этом всегда быстрее других голодранцев удирает от околоточных). Родня забеспокоилась, однако, не ведая причины сыновнего недомогания, списали меланхолию на сырую погоду и отсутствие свежих овощей. Барыня, Елизавета Петровна, по углам Серёжиной комнаты пучками развесила мяту, валерьяну, полынь, заманиху, а папаша прописал ему жёлтые пахучие капли, которые барчонок, слава богу, пить забывал.

Неизвестно, как бы дальше потекла его хворь, если б не случилось Сергею в ту пору сойтись с одним парнем – сыном лабазника Лёвой Трубниковым. Этот тип был лет на пять его старше и родом совсем из другого курятника – балбес, кутила и порядочный жох. Непонятно, с какой стати их друг к другу кинуло, – барчонок был нрава не буйного, водки не пил, а коли говорил кому-то в запале дерзость, то не иначе, как: вы, милостивый государь, сатрапьего роду-племени! – но на недолгое время они даже подружились. Думается, что одному из них просто требовалось приятельское участие и он искал себе подходящую жилетку, а другому, чтобы не томиться в безделии, требовался этакий Ванька-дурачок, набитый по уши романтической чувшью, над которым можно потешаться с собутыльниками. Несколько раз они вместе ходили на охоту – у Лёвы был собственный гринер, а ружьё для барчонок он брал у папашы, – правда, толку от их пальбы никакой не было, лишь распугают в округе зверьё да принесут на двоих одну ворону (ну а однажды барчонок вместо лося подстрелил свою же лошадь) – вся прибавка к обеду. И всё же барчонок постиг кое-какую оружейную премудрость и, как вскоре выяснилось, даже попытался ею воспользоваться. Впрочем, бестолковые охоты не мешали им друг к другу приглядываться и брать каждому своё – уж Лёве-то, надо думать, больше скучать не приходилось.

Да, барчонок подменял собой Петрушку. А вот воспользоваться жилеткой решил не сразу – тянул, пока страдать в одиночестве стало совсем неважно. Тогда только поведал Лёве свою сказку. Лёва хитро смекнул дело и, хоть сам не раз был участником земных забав его небожительницы, ничего барчонок не рассказал – просто пригласил на кутёж с друзьями в ближайшую субботу. Он пожелал содействовать счастью своего приятеля и обещал представить его Катерине, которая тоже была звана на субботу.

Как рассказывал потом сам Лёва Трубников, они успели не к началу.

Лёвины дружки гуляли в своём излюбленном месте – в кабаке у железнодорожного моста, – в отдельном кабинете, шумно, песенно, как было у них заведено. Приятели подошли к самому разгару, когда в дело уже пошли фривольные частушки. Но барчонок не заподозрил никакого подвоха, он и в уме не держал, что друзьям возможно обходиться между собой неблагородно.

Без опаски он вошёл за Лёвой в кабинет и если испытывал в тот миг трепет, то лишь от ожидания обещанной встречи... Ей-богу, на него бы стоило взглянуть – ведь не часто встретишь каменного истукана с глазами в целковый и отвисшей челюстью, – когда, пройдя в дверь, он увидел кроме квартета орущих молодцов двух полуголых срамниц и свою красавицу, что сидела на краю стола в одних кружевных панталонах и даже не думала прикрывать розовых сосков перед входящими.

– Эта девка рядилась в кружевное исподнее, – говорила кухарка. – И то правда – у ней хватало родственников, кому хватать!

Уши и щёки барчонок вмиг обварились до багрянца, белели только два рубца на пунцовой мочке, – он шагу не мог ступить дальше двери, прислонился к косяку и пялил свои целковые.

Им налили штрафные. Лёва Трубников треснул свою рюмку за столом, а барчонок сама Катерина поднесла к двери: этот, говорит, что ли, мой нежный воздыхатель? выпей, сладенький, а то, гляди, совсем зарделся! Но он рюмки не взял – только пыжился, ворочал глазами да хватался рукой за грудь. А Лёва треснул ещё, закусил прямо из салатницы и говорит: не теряйся, она у нас добрая – проси, чего надо, получишь вдвое! Барчонок на него так и зыркнул – только теперь, небось, начал понимать, что его дурачат. А Лёва опять: смотрите, как ему наша Катька по нраву, он её сейчас до печёнки проглядит! – и давай ржать, следом – все, только барчонок и слова не сказал, до того его хватил столбняк.

Всё же его усадили за стол и вставили в пальцы рюмку. Вид у него был такой, что, казалось, будь на полу ковёр или какая-нибудь щель в обоях, так он бы туда с радостью влез, лишь бы укрыться с глаз долой.

– А представьте-ка, что творилось у него в голове!

Веселье покатило дальше: пили и снова наливали, хохотали, тискали девок, – потом Катерина уселась барчонок на колени и давай пихать ему в открытый рот солёный груздь в сметане. Хохочет, как тот пялится и рта закрыть не может, хоть сметана уже течёт с подбородка. А один молодец подскочил к Лёве с какой-то бумажкой и говорит: глянь, Катьке новую поэзию подкинули, почище прежних! Лёва взял бумажку и стал читать:

Порой иду вдоль улиц шумных
И вижу грязных мужиков,
Торговок уличных, толпу у кабаков...

Я так же беден, как они,
Нищ духом с самого начала,
Но мне живительные сны
Душа больная прошептала:

«С сестрой ты встретишься в пути.
Прочь от соблазнов смерти липкой,
Гнилой, с беззубой улыбкой
Лишь с ней сумеешь ты уйти».

Тебя я встретил. Ты – как луч!

Ты – как смычок для музыканта,
Как вдохновительница Данта,
Как солнца лик в болоте туч!

Ты так чиста!.. Твои уста,
Увы, не встретятся с моими.
Лишь в полночь дорогое имя
Произнесут мои уста.

Твой взор создал жестокий рок
Не для моей кривой личины.
Пишу тебе... Так из пучины
Болотный светит огонёк!

Лёва читал погогатывая. Как кончил, барчонок совсем с лица спал, а эта бесстыдница закатила ангельские глазки и говорит: кто, мол, в городе такой дурачок? всё записки подкидывает, явился бы сам, уж я б ему уста высахарила! А Лёва сказал: бумага-то, гляди – голубая муаре, и почерк как по линейке, небось, твой огонёк болотный по чистописанию отличник!

Тут барчонка столбняк отпустил, и он пулей сорвался с места – вылетел из кабинета и по весенней грязи галопом поскакал до самого дома. Прохожие с дороги шарахались – вид у него, говорили, был такой, будто лошадь вырвалась из горящей конюшни. Домой он прибежал заляпанный грязью, с сумасшедшим лицом и, не отряхнувшись, сразу кинулся к папашиному кабинету.

– В доме, кроме меня, живой души не было, – говорила Лукешка. – Барыня каждым маем гостит в новгородском имении у двоюродной сестры, а хозяин был в городе с обходом пациентов – конягу-то барчонок упокоил, так что доктор нынче пешком шаркает.

Даже из кухни было слышно, как барчонок возится у папашиной двери. В конце концов он саданул чем-то об пол и затопал по лестнице в свою комнату.

– Я из кухни глянула, вижу: он дверь папашиного кабинета отпереть хотел, всю поскрёб перочинным ножичком, и ножичек этот с перламутровой ручкой тут же на полу валяется. Может, думаю, хворь приключилась и он в папашину дверь скрёбся за микстурой? Ножичек прибрала и пошла к нему выпросить: вдруг чего нужно? Только он меня прогнал и дверь не открыл, очень был сердитый...

Угол подушки промок от набежавшей слюны, под животом комом сбилась простыня. Он смотрел в окно, в бледную майскую ночь, до того неподвижную, неживую, что, казалось, воздух, как стоячая прудовая вода, навек успокоился в затхлой земной впадине, плодя ночную тину, подёргиваясь мутью облаков. Сон не приходил. В груди что-то корёжилось, давило, он хватал грудь рукой – успокаивал боль, сминая кожу в горсти. Всплыло наваждение: утренний туман, кусты лещины, и за кустами, в сырой дымке – бурая морда с короной ветвистых рогов; он долго целится в венценосного призрака, успокаивает дыхание, воображение в один миг уравнивает его с Каракозовым, с Соловьёвым – и наконец, почти в обмороке, он разряжает правый ствол с жаканом и оказывается удачливее тех обоих; а потом видит своего старого каурого Гранда с пробитым пулей лбом, и сердце – нет, не от жалости, а от злого издевательства жизни – падает с высоты и рвётся в красные клочья...

Теперь опять думалось о решённом, о шкапчике с лекарствами – с отмеренной смертью – за неподдавшейся дверью, думалось: *как? как? как, чтобы скорее?* Его трясло, по всему телу пошёл пот – он сбросил на пол одеяло. Сна не было. Возник запах, сухой и пыльный. Он

заглянул под смятую подушку – рука крошила пучок прошлогодней мяты. Брезгливо, точно паучий выводок, он стряхнул труху за кровать и снова закусил мокрый угол наволочки.

Потом он встал, оделся и, не дожидаясь завтрака, вышел из дома в белое от росы утро. Солнце, едва приподнявшись над отсыревшей землёй, светило робко, будто спросонья не сознавало, что уже бодрствует. Приказчики отпирали лавки, гремели амбарными замками; у рынка шныряли хозяйки с корзинами для снеди; у казёнки собирались опухшие ярыги. Он прошёл мимо старой крепостной башни, где ещё не появились калеки и нищие во главе с блаженным Юшкой-Лыком, мимо замшелой водяной мельницы, складов, на Мучную улицу, где жили Трубниковы. За время его пути солнце очнулось. В приоткрытые двери лабазов косо падали солнечные занавеси, в них вихрилась мучная пыль – неприкаянно, в неустроенности праха. *Судьба изгоя... Без удела и надежды...*

Он подошёл к угрюмому дому, дёрнул кольцо звонка – в глухой утробе коротко звякнул колоколец. За дверью не спешили – ему показалось: долго, – дёрнул ещё раз и ещё, тогда скрипнули тяжёлые петли и в сумеречной щели появился белый чепец горничной.

– Дома. Встали-с. Собрались за утями.

Он прошёл с крыльца в тёмную прихожую, оттуда, через гостиную, – к Лёвкиной комнате.

Дверь отлетела с грохотом, как уличённый хозяйский прихвостень, как ничтожество, как враг. На столе лежал великолепный Лёвин гринер; сам Лёва застыл возле стола с удивлённо вздёрнутой бровью.

– Ты подлец! Ты ещё будешь стыдиться!

Миг он стоял в дверях, потом подскочил к столу и схватил Лёвин патронташ. Отыскав среди зарядов дунста патрон с картечью, он стиснул его в кулаке и молча выбежал из комнаты. Он торопился, в тёмной прихожей вместо своей гимназической фуражки напялил на голову чей-то ватный картуз...

На улице появились прохожие – утро расходилось ясное, звонкое, прозрачное. За мельницей пахло влажной гнилью. Пока нужно было ждать, он сидел над рекой, смотрел на быструю воду, на покорные извивы бледных водорослей; думал о страшном. Думал до тех пор, пока над Мельной не покатались воскресные колокольные звоны. Тогда он поднялся и пошёл, сильно отмахивая руками. От реки за ним тянулся запах тины. По дороге хватился перочинного ножа: пошарил по карманам – нет. Не мог вспомнить, где оставил. Уже у самого дома он ненадолго остановился в раздумье, потом свернул в соседние ворота и разжился у дворника за пятак – с возвратом – ящиком со слесарным инструментом.

– День был воскресный, – говорила Лукешка. – Из церкви я вернулась вперёд хозяина (тот обычно заворачивал в чайную играть с помощником акцизника в шашки), а как в кухню зашла, то зачуралась – решила, что обозналась домами!

У плиты валялся изрубленный в щепки табурет, чей-то растрёпанный картуз, с торчащими клоками ваты, опилки, топор, ножовка и прочий инструмент, а железная, с блестящими шишечками, кровать, стоявшая прежде в углу, была завалена на бок, и в одной её спинке не хватало железной трубки.

– Барчонок мне в голову не пришёл – с какой стати ему кровать рушить?

Однако, когда Андрей Тойвович вернулся домой, то в гостиной обнаружил записку такого содержания: «С жизнью покончено. Существование подло и недостойно стараний. Ухожу без злобы. Всех прощаю. Никого не винить».

Бедный папаша, прочитав, чуть не сел мимо стула. Подпись отсутствовала, но нужды в ней и не было – барчонок в последнее время если что и говорил, то именно такой крупой: будто его давил кашель и он боялся, что не успеет высказаться. Слава богу, в доме не было матушки, Елизаветы Петровны, иначе бы доктор разбогател ещё на одного пациента и занялся делом, –

а без неё Андрей Тойвович долго ещё раздумывал: как быть? – да так и не решил, иначе не пошёл бы обратно в чайную за советом.

На следующий день соседский дворник рассказывал, будто видел, как барчонок выходил на улицу, неся под мышкой бумажный свёрток. Другие видели, будто он шёл к извозчиному двору, за оградой которого сразу начинался старый сосняк. Известно также, что по дороге он свернул в казёнку и взял полуштоф водки, а у бабёнки, бойко торгующей возле казёнки соленьями, прикупил два огурца.

Ну а папаша, после чайной, пошёл-таки к исправнику, только что и говорить – зашевелились уже после полудня.

По небу разметались белые перья облаков – кочевая голытьба выси. Солнце скатывалось в долгий заповедь. День горел величаво, но без благочиния – голосили в лесу птицы, взбужденные весной, торопились поделить самок.

Он сел на упругий ягель, откинулся спиной к морщинистой сосне. *Всё. Всё и ничего больше. Исчезну не я и не она – исчезнет затхлый омут.* Солнце било косо, подслеповато. Над головой зашуршал поползень, и с сосны сорвалась рыжая чешуйка коры. Он выложил на мох огурцы, рядом пристроил бумажный свёрток, потом достал из-под куртки бутылку и ковырнул ногтем сургуч...

Некоторое время он сидел уперев затылок в красную кору, – в груди снова защемило, созревала боль, острая, неутомимая. Рука сама потянулась за пазуху – унимать жестокого червя: *скоро... скоро...* Он хлебнул прямо из бутылки, но тут же сморщился и заперхал, мелко разбрызгивая слюну. Когда лицо его разгладилось, он один за другим вывернул карманы – руки двигались непослушно, но без лишней суеты. Вытащил на свет выпотрошенную гильзу – несколько картечин, оказавшись на ладони вместе с ней, скатились и нырнули в мох. Он ополоснул гильзу водкой, наполнил её и, зажмурившись, разом проглотил содержимое. Ничего страшного не произошло. На зубах закрипели порошины – он сплюнул, утёр накатившиеся слёзы и хрустнул огурцом, сочно, будто прошёл косою по жирным пустотелым хвощам. Боль понемногу уходила, но ненадолго – она оставалась рядом, кружила вокруг бархатной поступи, подавая о себе неясные унылые знаки. Он снова наполнил гильзу и выпил, передохнув, ещё и ещё...

Птицы не умолкали. Солнце за красноствольными соснами клонилось к холмам, к ошетилившемуся горизонту, как к мучительному ложу гималайского аскета. Воздух был недвижим и прозрачен, в нём далеко разносились лесные шорохи, трески, вздохи. Где-то за частоколом стволов размеренно подала голос кукушка. Он стал считать, сбился на шестнадцать и злорадно рассмеялся. *Ври другому!* Глаза его потускнели. Он подтянул бумажный свёрток, приподнял его, опустил на живот. С шуршанием отпорхнула в сторону бумага; на животе лежал урод – неуклюжая поджига, грубо сработанная из железной трубки и подобия приклада, вырубленного из сиденья табурета. Трубка была туго прикручена к прикладу верёвкой. Осмотрев уroda, он снова отложил его в сторону, на сизый ягель, пенившийся на глади мха островками пористой накипи. Осушил ещё одну гильзу, дожевал остаток огурца, потом достал из кармана спички.

В глубине леса опять зашлась кукушка. Больше он не считал. Червь, притихший было в изъеденной груди, снова ожил – прожорливый, несносный, он хотел прогрызться наружу, сквозь плоть, сквозь рёбра. *Скоро... Уже скоро...* Он взял в руки поджигу и поднялся с земли. Его сильно качнуло – мир отторгал его, выталкивал из себя, как чужеродное занозливое вкрапление. Он снова сел, прижался к равнодушному шершавому стволу и медленно, будто нащупывая нужное место, приставил трубку к груди – туда, где сидела боль, где скрывался безжалостный мучитель. Приклад подпёр коленом, освободив тем самым обе руки, затем достал из коробки спичку и, прежде чем чиркнуть, долго вертел её у самых глаз. Огонёк полыхнул, но тут же умер, придавленный тихим движением воздуха. Он зажёл новую спичку, прикрыл её

ковшиком ладони, дал пламени разгореться и только тогда поднёс огонь к узкому пропилу в трубке, откуда выпирали тусклые крупы пороха.

Непонятно, как ему удалось добраться до привокзальной площади, ведь – мало что барчонок колбасился червём, то складываясь, то пластаясь, словно кто-то мерил улицу пядью, – к тому часу уже все городовые в Мельне имели распоряжение высматривать щуплого белобрысого гимназиста и напрямик тащить его в отчий дом. Уже под вечер его разглядели в кучке калек и блаженных, промышлявших на площади у старой крепостной башни, – он был вымазан землёю и глиной, безобразно пьян и христарадничал вместе с голодранцами. С ним пытались заговорить, но в ответ барчонок только махал руками, тыкал пальцем себе в грудь и выражался в том смысле, что, дескать, теперешние граждане рождаются без сердца, факт, мол, доказанный практикой, и требовал с прохожих копейку на учреждение комиссии по выправлению анатомических атласов. Никто из слышавших его причитания и заподозрить не мог в них большего чем пьяный вздор.

Чуть позже барчонок вовсе скинул вожжи – запел по-французски «Марсельезу» и, швырнув в проходящего мимо учителя истории Лесникова комком лошадиного навоза, сбил тому фуражку. Послали за городовым.

Когда на площади показалась квадратная фигура с «селёдкой» у ляжки, все голодранцы расползлись кто куда и первым – Юшка-Лыко, даром что глухой и видит вполглаза. Но, прежде чем поймали извозчика, барчонок сблевал под стену башни голой желчью и застрочил такой частой икотой, что стал похож на часовой механизм в крышке, сработанной под пьяного гимназиста. Всю дорогу, пока чин вёз его к папаше, бдительно поддерживая на ухабах шаткое тело, тот слова не мог из себя выдавить, только ворочал глазами и частил: и-йих, и-йих, и-йих... А когда выбежал на крыльцо Андрей Тойвович, барчонок сквозь икоту всхлипнул: выгрыз сердце! – и заикал пуще прежнего.

– Он так и сказал, – передавала Лукешка, – так и сказал: выгрыз!.. и-йих... сердце выгрыз!.., и-йих... пусто!.., и-йих, и-йих...

При этом он тыкал в свою грудь замаранным пальцем, туда, где под его перстом на грязной гимназической куртке едва виднелась небольшая опалённая дырка. Доктор и без того был невелик ростом, а как увидел эту дыру, то укоротился ещё вершка на два. Он даже русский язык забыл от волнения – разевал рот да хлопал руками по ягодицам. После такой гимнастики подхватил барчонок, который в свои-то годы был выше его на целую голову, и потащил в дом; уложил чадо на диван, сбегал за своим чемоданчиком и закричал, чтоб ему в сей миг подали горячей воды. Барчонок к тому часу сник и, пока папаша над ним суетился, только и знал, что пучить глаза да маяться своей икотой. Между тем папаша снял с него куртку и поворочал с живота на спину, а как распрямился, то стало видно, что брови его проползли половину лба и ползут выше, будто решили прогуляться по лысине. И ещё бы им не ползти! Ведь барчонок пустил-таки себе в сердце картечину, но, как обычно, состряпал дело так, что из самоубийства вышла чистая скоморошина.

– Он под такой звездой на свет из мамыши вылез, что все его затеи чёрт на свой лад переиначивал – как видно, не всегда это, прости господи, плохо!

Оказывается, его поджига (её нашли в лесу через два дня) выпалила так, что сама едва не разлетелась на части, а картечина прошла навывлет рядом с сердцем, сквозь мягкие ткани, особо не потревожив нутра. При этом вата, которую он надёргал из картуза и забил вместо пыжа, удачно растрепавшись, закупила дыру с обеих сторон и остановила кровь.

Когда папаша промыл барчонок рану и перевязал грудь, то неожиданно повеселел и сказал, что если тот когда-нибудь снова надумает стреляться, пускай сначала смажет пыж йодом, тогда ему вовсе не понадобится никакой врач! Только барчонок было не до смеха – от икоты у него вздулся зоб, а конца напасти не виделось. Тут папаше пришлось потрудиться. Но чем

ни отпаивали, как ни затыкали ему рот и нос, сколько ни заставляли глотать сухих горошин, а прошла напасть только на следующий день, когда за него уже готовы были ставить свечку.

На этом Лукешка обычно заканчивала свой рассказ. Что же касается виновницы всей этой истории, то примерно через месяц после неудачной попытки Сергея Хайми расстаться с жизнью Катерина, не простившись с родными, сбежала из Мельны с проезжим артиллерийским поручиком. Кажется, в Таврию. Из вещей она прихватила с собой лишь зонтик и шляпку с вуалькой.

А сама красноречивая кухарка тем же летом по причине пьяного бесчувствия насмерть угорела в бане вместе с денщиком Нила Антоновича – нашего воинского начальника. Судебный следователь Шестаков обнаружил в предбаннике, oprичь одежды и берёзовых веников, полчетверти «Ерофеича», мочёные яблоки и свиную колбасу, из которой торчал маленький перочинный ножик с перламутровой ручкой.

1984

Жаркий июль

Было видно, как солнце за окном садится в лес. Тут дядя Лёва взял рюкзак и пошёл во двор, а Вовка – за ним, как обычно – провожать. Теперь дядя Лёва только к следующим выходным приедет, и Вовке из дома станет проще удирать, и мне будет с кем на речку таскаться за окунями. Вот бы ещё по телевизору побольше тёти-Наташиных «до шестнадцати» пустили, тогда бы – совсем отлично, тогда бы и я свои гривенники заработал, и за Вовкой вовсе бы глаза не было, как в прошлую неделю. Эх, вот бы так же вышло!

Во дворе заурчала дяди-Лёвина машина – всё, сейчас поедет. И я встал, чтобы домой идти, а тётя Наташа говорит: подожди-ка, Саша, это я, стало быть, подожди-ка, – а сама что-то ищет на столе глазами, – дело для тебя есть, пока мы одни, понимаешь? сейчас я черкну два слова, а ты... И я понял, что гривенник у меня уже почти в кармане.

Тётя Наташа отыскала на столе карандаш, склонилась над бумажкой и всё повторяет: сейчас, подожди-ка, сейчас – а я и так уже не спешу. Заглянул ей под руку – снова ни шиша не понять, те же строчки пишет, что и раньше, и буквы такие же, низенькие, животастые – хоть тресни, не прочесть ни слова. А тут вдруг опять вошёл дядя Лёва. Как он дверью скрипнул, тётя Наташа в один миг сиганула от стола, бумажку – в карман кофточки и уже стоит посередине комнаты как ни в чем не бывало, только палец к губам поднесла украдкой, молчи, мол. А мне что, я и помолчу. Хотя чего тёте Наташе бояться? Разве ж дядя Лёва станет ей запрещать у нас телевизор смотреть, тем более, что от их дачи до нашего с отцом дома пять минут ходу.

– Деньги-то я тебе забыл оставить, – сказал дядя Лёва и достал из кармана кошелек. Положил на стол две красненькие бумажки, потом вытряхнул на ладонь остаток: трешку, какую-то медь и пять или шесть юбилейных рублей, на которых наш солдат с мечом, и спросил: – Может, ещё добавить?

Тётя Наташа сказала: не надо. А что ему стоило мне предложить хоть один юбилейный, от меня бы, небось, не услышал: не надо!

Ну, потом дядя Лёва сказал, что придётся ему, видно, Митьку Давыдова с собой в Мельну взять, потому что тот стоит во дворе и от машины не отходит да ещё обещает рассказать какое-то дело, а какое у него дело – и так видать: у человека пятый день запой, за душой даже дву-гривенного нету на автобус, ему и хочется задарма в город попасть, а там он вагоны ночью погрузит, семь потов спустит, и всё затем, чтобы завтра снова до зелёных соплей нажра... – и тут тётя Наташа сказала: постой, зачем при ребёнке, это при мне, стало быть. А дядя Лёва засмеялся, что, мол, будто бы этот ребёнок не с самого рождения Митьку Давыдова знает, будто бы восемь месяцев кряду не видит того в канаве у магазина, а четыре других – на том же месте, но в сугробе, и будто не его отец с этим Митькой по пятницам принимает за воротник, а тётя Наташа сказала: Лёва!

Откуда им знать, что мой отец со вчерашнего дня с Митькой в ссоре, когда тот пришёл и попросил в долг пятёрку, а отец сказал, чтобы он в другом месте дураков поискал, потому что Митькины долги завещания ждут. Но, видно, Митьке очень хотелось пятёрку получить, и он сказал, что второй месяц вот молчит, хотя всё прекрасно видит, и что если бы ему было сегодня на какую денгу похмелиться, то, вообще, смог бы, наверно, промолчать всю жизнь и никто бы из него даже силой слова не вытянул, а отец спросил: это что же ты видишь? Тогда Митька выругался, что, мол, то самое и видит, чего этот дачник Медунов, дядя Лёва, стало быть, никак не разглядит, хотя мог бы за два месяца разок к зеркалу подойти и полюбоваться рогами, а отец ему говорит: мол, с какой такой стати тебя чужие рога беспокоят? Тогда Митька снова выругался, что ему дела-то никакого нет, да вот только молчать уж больно тяжело, когда так пить хочется.

– Вкусно-сладко? – говорит. – Плати!

Ну, тут отец покрутил перед Митькиным носом кулачищем и сказал: топай-ка ты, дятел, мимо, а если к Медунову свернёшь за пятёркой, то пропьёшь её уже на том свете, если и там косорыловка в ту же цену. И я бы Митьке ни шиша не дал, потому что с него не допросишься. Дядя Лёва всё стоял и совсем без рогов, так что Митька к тому же трепло, и всё держал на ладони рубли – от меня бы, небось, не услышал: не надо!.. Стоит себе и стоит, а я уже ждать не могу, когда он уйдёт, чтобы тётя Наташа записку дописала и отдала мне мой гривенник. Ох, хоть бы скорее, прямо неумоготу терпеть!

– Вовку одного далеко не пускай, пусть у дома гуляет, – сказал дядя Лёва.

Было видно, как он засовывает деньги обратно в кошелек и разворачивается к двери.

А это уж дудки! Завтра тётя Наташа пойдёт кино смотреть к моему отцу, и мы будем с Вовкой одни и что захотим, то и сделаем, потому что нас они ни за что к телевизору не пускают и даже в доме не оставляют – они только те фильмы смотрят, которые «до шестнадцати», – да нам и не очень-то хотелось: на речку, небось, тоже не каждый день удрать можно. Вот сейчас гривенник заработаю и завтра, может, ещё один да ещё за окунями – эх, отлично! Прямо неумоготу терпеть.

Потом дверь снова скрипнула, и тётя Наташа подмигнула мне, мол, всё в порядке – наша взяла. Подошла к столу, черкнула в бумажку, сложила два раза и протянула мне белый квадратик.

– Смотри не потеряй, – сказала она. – И никому не показывай, понимаешь? Главное – никому не показывай.

Она всегда так говорит, будто я хоть раз терял или кому-то не тому показывал.

На самом деле, все это чушь собачья, и никому эта бумажка не нужна, тем более что не понять ни шиша. Я один раз Митьке Давыдову дал взглянуть, чтобы он мне прочёл, так он тоже ничего не понял, только присвистнул. Даже ей не нужна. Ведь отец и так её пустит телевизор смотреть, безо всяких записок. Только тётя Наташа иначе думает – разве ж кто-то станет деньги отдавать за чушь.

Дяди-Лёвина машина во дворе заурчала громче, и стало слышно, как она уезжает. Я положил записку в карман и ещё пуговицей застегнул – специально, чтобы тётя Наташа видела, как надёжно. Застегнул и жду.

– Уже поздно, – сказала она. – Иди домой, а то опоздаешь к ужину. А завтра приходи, поиграете с Вовкой.

– Приду, – сказал я.

– Только – чур молчок. Понимаешь?

– Ясное дело, – сказал я, – раз за такое гривенник полагается.

Тут тётя Наташа охнула и говорит, мол, что же со мной к двадцати годам станет, если я в девять такой, а сама уже кофточку обшарила и даёт мне блестящую монетку – прямо сверкает, такая новенькая.

Сперва он лежал в кармане холодный, а когда я на крыльцо вышел, гривенник нагрелся и стал прилипать к пальцам. На дворе, кроме Вовки, никого не было – машина пылила далеко у леса, – и я сказал ему: завтра на речку идём, так-то вот.

Солнце уже село, но было жарко, и роса не думала выпадать. Зашёл в дом, гляжу: отец только поужинал, ещё со стола не убрал – сидит и скребёт во рту спичкой. На записку сперва и не взглянул – сплюнул в сторону, цокнул языком, потом только бумажку развернул и сказал: у-у, кошкина дочь. И даже не выругал меня за то, что я опоздал к ужину. Ну, думаю, день сегодня – что надо. Как бы теперь ночь дотерпеть, чтобы снова было утро, а там и на речку с Вовкой сбежим. А может, и завтра ещё записка будет, так, глядишь, опять заработаю, кто знает. Перед тем как за стол сесть, я залез под свою кровать, нашупал прорезь в жестянке и сунул туда гривенник. Интересно, сколько их там?

Отец всё теребил бумажку, всё мял её пальцами и вдруг понёс не пойми на кого, что уж если быть гвоздём, то понятно, когда под обухом в стену лезешь, а чтобы самому себе по башке дубасить, так это Митька Давыдов один такой умник на всё Запрудино, и уж коли он такой, то пускай за своё петушиное дело в гроб ложится, никто ему мешать не станет, а отец так, например, даже поможет, потому что два раза предупреждать не привык, пускай он себе кукарекнет, а там, глядишь, и не рассветёт. Даже встал и зашагал перед печкой, до того распалился. Шагает и всё говорит не пойми кому, что, мол, коли всякие засранцы, которым место в канаве у магазина, начнут ему указы строить, то он с такими торгов не торгует – плюнет да разотрёт, всей работы. И треснул кулаком о стену так, что с потолка сыпануло пылью.

– Хоть бы кто рассказал, про что кино, – сказал я. – Про войну, что ли?

– А?.. – сказал отец.

– Если про войну, то я уже смотрел такое.

Тут отец сказал, чтобы я ел и помалкивал, а если мне доведётся такие фильмы смотреть, какие он смотрит, что, слава богу, будет ещё не скоро, то он желает, чтобы мне их одному показывали и никакой петух перед экраном бы не маячил, а я спросил: это как же? Ну, отец сказал, чтобы я представил, будто мои гривенники кто-то из-под кровати потихоньку тибрит, а дружок мой, Вовка, например, приходит и показывает на этого ворюгу пальцем, так вот отец думает, что я бы тогда сильно на этого человека огорчился и пошёл бы своё богатство отбирать обратно, и если я себе это хорошо представил, то получится вылитый дядя Лёва. Но это – полдела, а вот если бы я сам вздумал у кого-нибудь гривенники таскать (ну как не таскать, если сами в карман прыгают), а Вовка бы, например, меня выдал, то он думает, что я бы тогда тому Вовке тумачков не пожалел, и это уже получится он, отец, стало быть, только вместо гривенников здесь одна кошкина дочь, а я спросил: это как же?

– А вот так, – сказал отец. – Годов нарастишь – узнаешь.

И потом ещё сказал, что если один куркуль уже поел, то на стене висят ходики, по которым видно, что этот куркуль целых двадцать минут отлынивает от постели. И погасил свет.

Интересно, сколько же их? Я опять залез под кровать и потрянул жестянку, только потом лёг и одеялом укрылся, лежу и думаю, что вот теперь бы ночь дотерпеть, а там, глядишь, и утро, и речка, и – может, ещё перепадёт...

Потом я встал и начал одеваться. Отец уже был в совхозе, так что я мог хоть сейчас идти на речку, только разве ж это интересно – одной рукой в ладоши бить? Вот после обеда, когда отец с трактора вернётся и тётя Наташа пойдёт телевизор смотреть, тогда и мы с Вовкой дадим дёру. Вот бы ещё перед этим заработать – совсем бы отлично.

Ну, позавтракал и пошёл к Медуновым, а у магазина уже крутится Митька Давыдов и всё по сторонам зыркает, будто высматривает кого, и даже издали видно, как ему пить хочется. Я однажды спросил у отца, что будет, если у Митьки денег не окажется, когда ему очень-очень пить пристанет, он заболит, да? – а отец сказал, что ничего он не заболит, а, наоборот, будет как с шилом в жопе, потому что ради скляницы на всё готов, и если уж очень-очень пристанет, так изловчится и продаст из Запрудина что-нибудь вроде речки или водокачки, и что он давно бы их продал, да вся загвоздка в том, как их стянуть, чтоб не сразу заметили. А старший Кашин, который рядом был, сказал, что пусть Митька мужик бестолковый, зато на нём магазин половину плана делает, а значит, найдётся человек, который и ему спасибо скажет, да, к примеру, та же продавщица Валька.

Митька, как меня увидел, сразу подбежал и сказал, чтобы я не спешил и что у него ко мне дело.

– К дачникам идёшь? – спросил он, а сам извивается, как мотыль, и глаза слезятся. – А рубль заработать хочешь?

– Ври тому, кто не знает Фома, – сказал я, – а мне Фома – родной брат!

Чтобы Митька кому-то рубль дал, да ещё у магазина, и это когда у него вчера даже двугривенного не было на автобус – не-ет, это уж дудки! И я оглянулся на водокачку.

Тут он полез в карман и достал юбилейный рубль, такой же точно, каких я пять штук у дяди Лёвы на ладони видел, и повертел так, чтобы я разглядел со всех сторон, а потом сказал, что ему только и надо-то знать, носил ли я вчера отцу что-нибудь от медуновской жены, от тётки Наташи, стало быть, или нет. Ну, я подумал, что тётка Наташа навряд ли Митьку Давыдова имела в виду, когда молчать просила, подумал-подумал и говорю:

– А полтинник не добавишь?

– Ишь скряга какой, – сказал Митька. – Ну, если не хочешь, так и не надо. – И потянул рубль обратно к карману.

– Носил, – сказал я. – Записку, как на той неделе...

– Молодец! – Митька снова зыркнул по сторонам. – Только никому не говори, что я тебя спрашивал.

– Ясное дело, – сказал я, – раз за такое рубль полагается.

Ну, тут Митька спросил: про что записка? – а я сказал, что известно про что – фильм придёт смотреть, который «до шестнадцати», а Митька засмеялся и прямо закрутился волчком.

– Так и написала, что «до шестнадцати»? – спросил он.

– Это уж не знаю, – сказал я. – Закорючки – не понять.

– А раз не знаешь, – сказал Митька, – то и рубль тебе платить не за что. – И побежал через огороды к автобусной остановке.

Я сперва тоже побежал, но скоро остановился, потому что у Митьки только пятки сверкали и я бы его всё равно не догнал. Тут глаза у меня зачесались, и слюны натекло полный рот.

Скоро стало видно медуновскую дачу. Солнце сильно припекало, прямо несло жаром, ну, думаю, если и тётка Наташа передумает кино смотреть, тогда не день будет, а божий недоделок.

– Отнёс вчера? – спросила тётка Наташа.

Она шла с корзинкой к огороду, наверно, хотела клубнику добрать.

– Отнёс, – сказал я.

– Умница, – сказала тётка Наташа. – А почему у тебя глаза красные?

Ну, она наклонилась и стала мне передником лицо тереть, а я подумал-подумал и сказал, что не надо, что от этого гривенник не объявится, а она спросила: что?

– Я ваш вчерашний гривенник потерял, – сказал я.

Тётка Наташа охнула, что, мол, только и всего-то! – а потом сказала: не реви – вернулась в дом и принесла мне новый. А я и не думал реветь, вот ещё! Она закрыла за собой калитку в заборе, и я тоже пошёл со двора, сперва на крыльцо, а потом через веранду в Вовкину комнату, иду и чувствую пальцами, как он нагревается в кармане и становится гладким и липким. Вот бы, думаю, ещё отец скорее с работы вернулся, тогда и кино начнётся, а вечером, может, ещё где перепадёт, кто знает. Вот будет отлично, если перепадёт!

Потолок в Вовкиной комнате был белый-белый, и от этого там делалось светло, как в коробке из-под обуви. Ну, я сел на диван, а Вовка сразу сказал, что может ещё так случиться, что его отец, дядя Лёва, стало быть, сегодня из Мельны вернётся – это Митька Давыдов так вчера вечером говорил, когда вертелся вокруг машины и обещал рассказать своё дело. Так и говорил, что дело у него больно любопытное и когда отец, дядя Лёва, стало быть, про всё узнает, то непременно вернуться захочет, а сам он, мол, очень даже может через это пострадать, а Вовкин отец ему отвечал: ладно, ладно – но Митька всё равно обещал рассказать, потому что он, мол, честный человек, и справедливость – для него главное, и ещё он надеется за свою честность награду получить, потому что добро должно вознаграждаться, только расскажет он лучше не сейчас, а в дороге, да к тому же хорошо бы сперва награду обговорить, а Вовкин отец опять сказал: ладно, ладно, знаем.

– А потом они вместе уехали, – сказал Вовка. – Так что отец, может, ещё обратно вернётся.

Ну, я сказал, что на его месте я бы Митьке в рот не глядел и что сам я, например, уже давно ему ни на грош не верю, потому что Митька врёт как блины печёт, только шипит. Потом подумал и спросил:

– А тётя Наташа знает?

– Нет, – сказал Вовка. – Я ей забыл сказать.

– И не вспоминай, – сказал я. – Если тётя Наташа узнает, она дома может остаться и тебе будет не удрать на речку.

– Верно!

– С тебя гривенник, – сказал я. Только это уж просто в шутку, потому что у Вовки, небось, и пятака-то своего никогда не было, не то что гривенника.

На улице пекло, а мы всё сидели на диване и говорили о разном, пока тётя Наташа не позвала нас обедать. Ну, мы вышли на веранду и взялись за ложки, а когда после всего клубнику дали, тётя Наташа сняла передник и сказала, что сейчас уйдёт и мы, мол, одни останемся, но она нам доверяет и надеется, что мы будем себя хорошо вести и не пойдём гулять далеко от дома.

За деревней мы перестали бежать, потому что воздух там уже пах рекой и стало ясно, что деться ей от нас теперь некуда. А солнце всё палило, будто его разворошил кто, как угли. Правильно, думаю, что мы с собой удочки не взяли, в такую жару не до окуней, в такую жару надо сидеть в воде по маковку и не петюкать. Только я это подумал, как на просёлок выскочил дяди-Лёвин москвич – Вовка так и замер на месте, наверно, очень испугался, что его сейчас будут ругать за то, что он удрал без спроса.

Москвич подкатил, и стало видно, что за дядей Лёвой сидит Митька Давыдов и глаза у него – довольнёшеньки, а сам дядя Лёва, наоборот, как будто не в себе. Они о чём-то говорили, и это даже издали было видно, а как машина остановилась, то и слышно стало. Митька просил, чтобы дядя Лёва его перед деревней посадил, а то их могут вместе увидеть и тогда Митьке крышка, он своё дело сделал, его, мол, и так за это пришибут, а если вместе увидят, то и говорить нечего – покалечат вернее верного, а дядя Лёва сказал: со мной поедешь. А Митька опять своё, мол, дяде Лёве-то что, его дело законное, так что все шишки Митькины, а ему ещё пожить хочется, он-то, мол, знает, какой у этого Гремучего, у моего отца, стало быть, кулак тяжёлый – таким зашибёшь, и два раза махать не надо, к тому же Митька ещё свою пятёрку в жидкую валюту не перевёл и в таком виде смерть принять не готов, а дядя Лёва сказал: хватит! Митька замолчал и забился в угол, а дядя Лёва высунул голову наружу и спросил:

– Где мать? – А Вовка молчит – всё, небось, боится трёпки.

Тут я подумал, что ни шиша – раз Митька меня молчать просил о том, о чём у магазина спрашивал, то я назло всем расскажу, а он пусть подавится своим юбилейным, и сказал:

– Она у нас кино смотрит.

– Кино?! – спросил дядя Лева.

– Да, – сказал я, – до шестнадцати.

– До шестнадцати!!! – закричал он и так газанул, что только пыль столбом. Небось, тоже хотел посмотреть, хоть и не с начала.

Как они подальше отъехали, я сказал Вовке: с тебя гривенник, вроде пронесло – а он заныл, что, мол, всё равно теперь придётся обратно идти, раз отец вернулся, и если его сейчас не выругали, то, мол, дома обязательно взгреют, тем более, что отец, дядя Лёва, стало быть, поехал такой обозлённый.

А воздух-то уже пах рекой! Ну, думаю, что ж это за день такой – непёр с пролетом, и полез в карман пощупать гривенник, чтобы было не так обидно.

Когда снова показалась деревня, мы с Вовкой уже взмокли от жары. Рубаха облепила мне спину, и в желобке между лопаток текла едкая струйка. Небось, думаю, не хуже, чем в Африке! Мы прошли мимо нашего дома, и я удивился, что дверь открыта нараспашку и никого нет рядом – заходи себе и смотри кино, – но только мы дальше пошли, к медуновской даче. Потом из-за забора показался магазин. Около него толпилось человек восемь-десять, и все шумели, а когда мы подошли ближе, то стало видно, что вместе с деревенскими тут и продавщица Валька, которая громче всех кричит, и что они смотрят туда, где за канавой два брата Кашиных держат под руки моего отца. Вернее, это он им просто позволяет себя держать, потому что будь там ещё хоть четверо таких, как Кашины, им бы с отцом и минуты не справиться, если б он того не захотел. Он им, значит, поддаётся, и все на него смотрят, словно не видали раньше. Ну, потом я глянул ему под ноги и увидел Митьку Давыдова. Он уже успел надраться и лежал в канаве, бледный-бледный, и даже не сгонял муху, которая сидела у него на самом зрачке. Небось, и мой рубль спустил, думаю, а мне бы он ох как пригодился... Потом Валька крикнула: детей-то уведите! – и нас с Вовкой потащили за руки к магазину. Ну, тут Вовка заплакал, что ему домой надо, а то его ругать будут, если он сейчас не придёт, а кто-то сказал:

– На тебя керосину не хватит.

Но Вовка всё равно плакал и рвал свою руку, а я так рад был, что уходим с солнцепёка. Ну, думаю, надо ещё где-то гривенник перехватить, а то весь день – зряшный.

Одна танцюю

Ночью учителю снились попугаи. Птицы веерами распускали крылья и вдумчиво пели: «Милая моя, взял бы я тебя...» В восемь часов, по призывной трели будильника, учитель сел в постели и, не обнаружив тапок, утвердил пятки на холодных половицах. Он не помнил своих снов – пытался поймать ускользающий образ, но находил в голове только вязкую хмарь. За окном, на самых крышах, лежало стылое цинковое небо. Учителя окатило ознобом.

– Труб-ба дело! – дремотно ёжась, сказал он словами Андрея Горлоедова и, поняв это, зло, без слюны, плюнул под ноги.

Учитель оделся, закинул на шею полотенце и вышел в утренний коридор. Кругом было тихо и пусто; в кухне на сковороде шкворчал маргарин.

Пока он мочился, от аммиачного духа глазам сделалось жарко. Теперь сквозь головную муть проступало: *большие не звонить и не ходить – я никогда не привыкну ею делиться...*

По пути из ванной, окуная в полотенце сырое лицо, учитель столкнулся с Романом Ильичом. Тот шёл на кухню с джезвой и миской холодных макарон по-флотски.

– Эх-хе-хе! – вздохнул уныло Роман Ильич. – Жил хорь сто зорь, сдох на сто первой, провонял стервой!

– Кто? – Учитель застыл с устремлённой к пожатию ладонью.

– У меня под ларьком сдохла крыса. Её не вытащить. – Показывая, что он не может ответить на приветствие, Роман Ильич приподнял занятые посудой руки. – Она уже смердит.

– Скоро приморозит, – успокоил учитель.

– Прежде я задохнусь до смерти.

Учитель уже стоял перед дверью своей комнаты, когда из кухни, одновременно с жадным чавканьем маргарина, набросившегося на макароны, его догнал голос соседа:

– На этой неделе тебе Ленинград не снился. Верно, Коля?

Учитель толкнул дверь. Завтракал бутербродами с сыром и ревеневым соком. Без четверти девять, уже выбритый, с капюшоном на голове, учитель ступил на улицу, под октябрьский дождь.

В воздухе плавал запах прелого листа и мокрого железа. За квартал до площади, где ветшала древняя соборная церковь, тишину проткнул острый детский крик: «З-задастая!» Пронзительное «з» дрожало в воздухе, как стрела в мишени. Толстая женщина, шлёпавшая по лужам в пяти шагах перед учителем, приподняла пёстрый зонт и растерянно оглянулась по сторонам, – она походила на несколько булочек, плотно спёкшихся на противне. Водяная пыль забивала пространство, голос плутал в ней, дробился, звучал отовсюду. Убедившись, что поблизости больше никого нет, толстуха осторожно покосилась на учителя. В это время голос звонко уточнил: «Эй, з-задастая под з-зон-том!» «З» оставляло на теле тишины глубокие шрамы. Женщина ещё раз метнула взгляд вдоль улицы, втянула шею в сдобные плечи и поплелась к площади. Голос показался учителю знакомым. Он закинул голову и увидел балкон, забранный синим волнистым пластиком. В щели между двумя разошедшимися листьями блестел озорной глаз.

– Зубарев! – позвал учитель и удивился, как звякнул в тишине коленчатый звук. Глаз моргнул и убрался.

– Зубарев, – сказал он уверенней, – я тебя видел.

Над синей оградой поднялось смущённое лицо Алёши Зубарева – одиннадцатилетнего сына начальника вокзала.

– Почему не в школе?

– Я заболел, – сказал мальчик, – у меня в животе жидко.

– У тебя в голове жидко, – определил учитель.

Алёша застенчиво посмотрел в сторону.

– Вас, Николай Василии, под капюшоном не видно.

На площади блестели мелкие широкие лужи. У колокольни, под облупившейся вывеской «ТИР», учитель закурил. Чтобы скрыть от дождя папиросу, он тянул дым из кулака. Сквозь морось собор выглядел рыхлым, размякшим, оседающим в землю. Учитель обходил лужи и в светлеющей голове творил заклинание: *ты слаб перед ней, потому что любишь её, будь сильным – забудь, что она есть.*

Надя, не открывая глаз, широко потянулась в растерзанной постели. Тугие, тяжёлые груди поднялись в глубоком вздохе и снова опустились – накатилась и ушла медленная волна прибоя. Простыня закрывала ей только ноги и половину живота – батареи пылали, как чугун в литейке. Надя распахнула веки: в комнате было совсем светло. Рядом, повернувшись к ней свалявшимся затылком, посапывал Андрей Горлоедов. Минуту Надя лениво рассматривала его плотные лопатки, потом улыбнулась и едва сдержала смех, вспомнив, как ночью они запутались во взмокшей простыне, скатились на пол и повалили торшер. С улыбкой на припухлых губах она встала и накинула фланелевый халат.

На кухне шелестело радио. Надя вывернула ручку почти до упора – в пространство квартиры, заполняя его прямоугольную геометрию, хлынул бодрый утренний вздор.

Когда в кухню зашёл Андрей, на плите уже бормотал чайник и на сковороду перламутровой струйкой стекало третье яйцо.

– А-а-африка, – сказал Горлоедов, пряча зевок в ладонь.

– Так бы в декабре топили. – Надя нацедила из крана воду в игрушечную металлическую кастрюльку, какие бывают в детских кухонных наборах, и протянула Андрею. – Угости Гошу.

Тот принял посудину двумя жёсткими пальцами и скрылся за дверью. Надя отнесла следом тарелки и сковороду. Большой попугай с алой грудью и зелёными фалдами крыльев при виде хозяйки расцепил клюв, коротко свистнул и закусил прут клетки. Андрей вернулся в комнату из ванной, когда Надя уже заварила чай и раскладывала по тарелкам яичницу с помидорами.

– Труба дело, – довольно сказал Горлоедов. – Живём! – Он взял вилку и подцепил горячий скользкий ломтик.

– Жаль, что у меня нет подруг, – задумчиво отозвалась Надя.

Горлоедов, не поднимая лица от тарелки, взметнул бровь.

– Ты тот мужчина, о котором хочется рассказывать.

– Расскажи своему педагогу. – Андрей как будто продолжал недавний разговор. – Тогда он наверняка заберёт тебя к себе в Питер.

Попугай вдруг отчётливо изрёк: «Тр-руб-ба дело».

– Если он будет у меня ночевать, – сказала Надя, – тебе доложит об этом Гоша. – И напомнила: – Сейчас мне бьёт торшеры другой дурак.

Снова вспомнив ночь, Надя прыснула в яичницу.

– Хорошо, что не вдребезги! – всхлинула она. – У тебя мягкая спина.

Горлоедов ел внимательно, рот его карамельно блестел. Проглотив последний ломтик помидора, он заметил:

– С новым дураком поосторожней – костлявый.

– Идиот, – сказала Надя и задумчиво посмотрела в потолок. – Он влюблён в меня, он нежный.

– От любви есть верное средство – законный брак.

– Боже мой! – сказала Надя. – Кому бы я зла желала!..

Управившись с чаем, Горлоедов вышел в прихожую и потянулся к вешалке за потёртой кожаной курткой. Вжикнув молнией, он провёл ладонью по колючему подбородку.

– Куплю вторую бритву, – сообщил он. – Пусть лежит у тебя.
– У меня бывают гости. То-то удивятся.

Андрей притянул Надю к себе и стиснул руками так, что вся она растеклась на его груди, как тёплый воск.

– Скажешь, что кроме них у тебя иногда бывает нормальный мужчина.

Он отпустил её. Надя поправила на бёдрах халат, подумала и, не найдя что ответить, выдохнула:

– Битюг!

– Привет педагогу. – Андрей взялся за ручку двери. – А я в понедельник в Ленинград гоню. Дня на два. Что привезти?

– Что-нибудь.

Горлоедов застучал подошвами по лестнице. Некоторое время Надя смотрела ему вслед, внимательно, но без чувства.

Звонок вдребезги разбил сонный школьный воздух. Учитель не стал ждать, пока в столовую набьются дети, – собрал в стопку пустую посуду, отнёс в мойку и простился с буфетчицей.

Каждый вечер до нынешней субботы – вот уже неделю – после уроков он ходил к Наде. Пил чай, старался быть весёлым. Вчера следом за ним к Наде пришёл Андрей Горлоедов, в его сумке звякали бутылки, которые он не ставил на стол при учителе, он пах бензином, как шофёрская ветошь, и был развязным, будто имел на это право. За чаем он напевал, кося прозрачным глазом на хозяйку: «Ми-иленький ты мой, возьми меня-а с со-бо-ой...» Учитель чувствовал насмешку, но не понимал, в чём именно она состоит. Он ушёл – Андрей остался.

С неба сыпал мелкий дождь. Запах прелости и сырого железа был теперь не таким острым, как утром. Вспоминая вчерашний вечер, учитель томился. Несколько раз он замедлял шаг у телефонных будок, но, на миг останавливаясь, уныло плёлся дальше.

Из дверей колокольни в мокрый простор соборной площади рвался гулкий медноголосый марш. Учитель свернул к отворённым дверям. Внутри за стойкой сидел коренастый гражданин с седенькой войлочной шевелюрой, на бордовом сукне стойки лежали пневматические ружья. В щите с утками и мельницами, с краю, было проделано окно, в глубине виднелся другой щит с прикреплённой бумажной мишенью. Напротив окна, прикованная к стойке металлическим тросиком, воронёным металлом поблескивала мелкашка. Никогда раньше учитель здесь не был.

Сквозь марш он шагнул к мелкашке.

– Проверим глаз! – оживился гражданин. Войлочная шевелюра нырнула под стойку – музыка притихла.

– Пять выстрелов, – сказал учитель, доставая деньги. – Сколько до мишени?

– Пятнадцать.

– Мало.

В глазах гражданина мелькнул огонёк.

Учитель отвёл затвор, неторопливо вложил патрон в камору.

Когда на вытертое сукно упала пятая гильза, гражданин скрылся за щитом и вскоре вернулся с мишенью.

– Стреляешь, как Вильгельм Телль.

Учитель взял мишень в руки – пули легли кучно, немного левее яблочка, все в восьмёрке и девятке.

– В институте, – словно оправдываясь, сказал учитель, – я был записан в стрелковую секцию. – Он снова посмотрел на мишень. – Шестая будет в яблочке.

– Приезжий? – Гражданин положил на сукно ещё один патрон.

– Из Ленинграда. У вас – второй год. По распределению.

Учитель устроил на плече приклад, как вдруг, от невнятного толчка в затылок, оглянулся на дверь – по площади, распластанной за дверным проёмом, шёл Андрей Горлоедов. *Он всё это время был у неё! Боже правый, кто бы мне сказал: сколько времени попугай учит два слова?!* Андрей пересёк асфальтовое поле, ни разу не взглянув в сторону колокольни.

Сильнее вдавив приклад, учитель прицелился и спустил курок. Под новый бойкий марш войлочная голова исчезла за щитом. Учитель повернулся к выходу, в душе была гарь, пепелище. Он стоял в дверях, когда его догнал скачущий голосовой шарик:

– Молоко!

Роман Ильич Серпокрьл возвращался в овощной ларёк из столовой, где только что проглотил солянку и биточки, слепленные из чистого хлеба. По дороге он думал о том, что стоило только патриархальной «селянке» поменять букву и выродиться в «солянку», как вместе с внешним смыслом изменилось и содержание того, что под ним крылось. «Изменяется имя – изменяется вещь», – ответственно сформулировал Роман Ильич.

Ларёк встретил Серпокрьла мерзостным зловонием. Снимая с двери навесной замок, Серпокрьл поморщился и тихо выругал живую природу за то, что она не умеет достойно возвращаться в изначальный хаос. Внутри запах слабел и терялся. Поверх плаща Роман Ильич натянул бывший белый, а теперь серый с ржавчиной халат, подвинул ближе к весам ящик с помидорами и убрал с окошка заслонку.

Помидоров оставалось пол-ящика, когда он заметил, что к ларьку, помахивая стареньким дипломатом, подходит учитель. Роман Ильич отсчитал сдачу хозяйке в цветастом павловопосадском платке и сквозь стекло приветливо кивнул соседу.

– Если милый при портфеле, значит, милый без делов!

– Скучный город – некуда податься, – сказал учитель, беспокойно осматривая содержимое ларька. – Сегодня у вас до странности душистые овощи.

– Это крыса.

– Ах да... От одной крысы такая вонь?!

– Ты б её видел – поросёнок! Ребятня её палками забила, а она от них – под ларёк. Там и сдохла. Нынче – пятый день, самый аромат.

Учитель разглядывал скудное убранство витрины. Стекло отражало небо, где медленно свивалось в раковину облако – рваный клоч белёсого дыма.

– Значит, крыса... – размышлял учитель. – Преобразилась русская земля. – Он кивнул на убогую витрину. – В полях – ветер, народ геройствует за зарплату, а крысы растут с поросят.

– Крыса ж не человек, она в природе без курса существует. А нам отъедаться некогда, нам вечно спешить надо к верной цели. Кто же в дороге ест? В дороге закусывают.

Учитель долгим взглядом посмотрел на Серпокрьла, тот играл фомкой для взлома ящиков.

– Я слышал, ты с нашей королевной хороводишь, – сказал Роман Ильич. – Правда?

Морось туманила стекло ларька, капли сливались друг с другом, копились и вытягивались в зыбкие протоки, делая лицо Серпокрьла муаровым.

– Зачем о грустном? – Учитель вонзил палец в помидоры. – Взвесьте-ка мне килограмм этих золотых яблочек.

Утром в воскресенье учитель проснулся усталым. Прошедшая ночь представлялась колодцем без света и воздуха. Перебирая в памяти вечерние мысли, он вспомнил, что думал так: *я не люблю её – я хочу от неё слишком многого*. Теперь соображение это потеряло давешнюю ясность. *Чушь, я слабее, мне не пересилить. Бессмыслица: чтобы заставить её быть со мной, я должен стать сильнее, не любить, но – зачем мне нелюбимая?..*

Учитель, прыгая на одной ноге и балансируя локтями, словно грач на проводе, натянул брюки, застегнул рубашку и затолкал её под брючный пояс.

На обратном пути из ванной он заглянул к Роману Ильичу. Тот сидел развалившись на продавленном диване, смотрел на мерцающий экран телевизора и тянул кофе из чайной кружки.

– Ищу в долг постного масла, – сказал учитель. – В салат к вашим помидорам.

Серпокрыл, не выпуская из рук дымящуюся кружку, покинул диван. Пока он двигал на полках подвешенного шкафчика банки с крупами, учитель думал об этом странном наблюдателе жизни, о всегдашней его посвящённости в городские дела. Впервые он встретил человека, который был в два с лишним раза его старше, но при этом чувствовал его лучше сверстника.

Наконец Роман Ильич извлёк из шкафчика запечатанную бутылку (вспорхнула со дна рыхлая пыльца осадка) и протянул учителю.

– Мне чуть-чуть, – замотал головой учитель. – Салат покропить.

– Отливай сколько надо.

В дверях учитель замешкался, подтянул в ширинке змейку, поправил на шее влажное полотенце, обернулся и спросил:

– Откуда вы знаете про Надю?

Серпокрыл смял лицо.

– Мелкий город – все на виду.

– Скажите мне о ней что-нибудь, – попросил учитель. – Я хочу о ней говорить.

– Что говорить? Яснее ясного.

– Но почему – всё так?!

Серпокрыл сминал лицо, как гуттаперчевую маску, оно то и дело покрывалось ямочками, шишками и припухлостями.

– Эх-хе-хе! – сказал он, прихлёбывая кофе. – Бес их за ногу!..

В тарелку с помидорами учитель положил нарезанный полукольцами лук, бросил соли, прыснул медовую струйку масла и перемешал всё это дело неторопливо и тщательно. Завтракал салатом с бутербродами. Ел без аппетита, рассеянно задерживая вилку у рта и не замечая шлепающих по столу капель. Когда тарелка опустела, во рту осталась едкая горечь. *Пересолил... Честная примета.*

Десять минут спустя учитель стоял в телефонной будке. Он набрал номер, но после первого же гудка повесил трубку и вышел под дождь, забыв выудить из щели монету. «Увы, тому, кто не умеет заменить собой весь мир, обычно остается крутить шерба́тый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе...»

Надя вышла из дома и направилась вниз по улице – в гости к начальнику вокзала Евгению Петровичу Зубареву. Крапил дождь, жестяное небо провисло до крыш, неподвижное, синево-серое, как губы сердечника.

Сегодня Зубарев впервые позвонил Наде домой. Он балагурил, подбадривая самого себя, и после пустой вводной болтовни пригласил в гости. Надя догадывалась о симпатии, которую питает к ней её патрон, и Зубарев не раз подкреплял её догадку взглядом, словом, подарком. Когда, выходя из кабинета в приёмную, он клал руку на Надино плечо, она чувствовала, что это не мимолётный жест – он отмечает её как женщину.

Дверь otvorил Алёша, за ним в коридоре выросал хозяин. Зубарев был в костюме, из-под распахнувшегося пиджака широко выклинивался малиновый галстук.

– Ждём, ждём! Пропускай, Алексей! – Хозяин принял плащ с Надиных плеч, заметил её сырые туфли и скомандовал сыну: – Тапки! – После, стараясь не оставлять щели, куда могла бы влезть и закрепиться пауза, нашлепал замазки: – Как мой дарёный Гамаюн? Жив-здоров? Начал вещать, как положено вещей птице?

– Начал, – сказала Надя. – Теперь выбалтывает мои секреты.

В столовой стоял накрытый к обеду стол; в центре его искрилась фольгой бутылка шампанского. Зубарев отправил сына в соседнюю комнату готовить уроки, бымснул пробкой и наполнил фужеры вином.

– Надя, – сказал он с нарочитой бодростью в голосе, – желаю изложить тебе факты моей судьбы. У меня такое дело, что лучше начать с биографии. – Некоторое время он утюжил ладонью складку на скатерти, потом зашептал: – В общем, три года как бобыль, живём вдвоём с Алёшкой... А бобыль, он в своем доме – будто в чужом, места вещам не знает – не хозяин. Работы – сама понимаешь, на дом рук не хватает, и сын без присмотра растёт шалопаем...

– Евгений Петрович... – втиснулась Надя в его тесную речь, но Зубарев остановил её жестом.

– Хочется, – сказал он, – чтобы сегодня всё было запросто, без чинов. Сегодня я – Женя.

– Хорошо, – согласилась Надя. – Женя, вы клевете – с хозяйством всё ладно. Обед замечательный! – Грудь её под платьем мягко плескалась. – Но если я правильно поняла, вы приглашаете меня экономкой?

– Идиот! – Зубарев хлопнул себя по лбу. – Мне было трудно начать со слов о чувствах... Надя, я буду счастлив, если ты согласишься выйти за меня замуж, – выпалил он и поднял фужер. – Я не жду ответа теперь же...

– Это понятно, – сказала Надя, подвинув к хозяину свой опустевший бокал. – Но если без чинов, то могу ответить сейчас. Только... Сначала ещё выпьем. – Она осушила следующий фужер, не отрывая его от губ, и – пустой – вернула на стол. Потом откинулась на спинку стула, рассеянно провела рукой по волосам – сделала всё, чтобы казаться захмелевшей. Зубарев ждал. Надя подлила себе ещё вина и, театрально вспорхнув бровями, удивилась: – Я работаю у вас второй год. Почему вы не пытались сделать меня своей любовницей?

Зубарев поставил недопитый фужер на стол и принялся поправлять на горле свежий узел галстука.

– Стало быть... – начал он, но замялся, мучительно сморщил лоб и наконец выдавил из себя рыхлую голосовую колбаску: – Я не был уверен, что это тебя не оскорбит.

– Вы считаете, женщину можно оскорбить любовью?

– Вот как! – Зубарев моргал, галстук никак не давал ему покоя. – А теперь поздно?

Надя рассмеялась.

Тут в столовой возник Алёша. Пальцы на его правой руке были густо залиты чернилами. Он деловито подтягивал губы и, повернувшись так, чтобы грязь была заметна отцу, старательно размазывал чернила промокашкой.

– Ручка раздавилась, – сообщил он, плутова взглядом по потолку, – писать нечем.

Зубарев вынул из нагрудного кармана ручку с шариковым стержнем и протянул сыну.

– Шариковыми в школе не принимают. Ты что, забыл?

– Учи устные, – распорядился Зубарев.

– Устные я все выучил, больше мне знать нечего.

– Ну, тогда просись на гулянку, – посоветовала Надя. Она улыбнулась Зубареву влажной обещающей улыбкой.

Зубарев, проявляя смекалку, ошпарил её восторженным взглядом и слиберальничал:

– Ладно, двоечник, разводи пары!

Алёшу выдуло из комнаты.

– Где я могу причесаться? – спросила Надя.

– Зеркало в прихожей.

Надя выскользнула в прихожую и, как дерево с шуршащей листвой, склонилась к Алёше, который торопливо зашнуровывал кеды.

– Кто у тебя в школе ведёт историю?

– Николай Василя – герой труда и зарплаты. Он так сам говорит.

– Передай ему поклон от Нади, скажи: пусть придёт ко мне завтра, буду ждать.
Она подошла к зеркалу и смахнула прядь волос, упавшую на глаза.

В понедельник, с разрешения патрона уйдя с работы немного раньше, Надя убрала квартиру, вычистила Гошину клетку и с хрустом, словно ватманом, застелила постель свежим бельём. После парной ванны она долго рассматривала в зеркале своё тело, – оставшись довольной, взяла с полки над раковиной плоскую матовую баночку, зацепила пальцем бледно-сиреневую сметанку и, ловко втирая её в кожу, намазала шею, грудь, живот, бедра. Когда она надевала халат, из-под запахнувшейся полы юркнула наружу ароматная воздушная змейка.

В прихожей дулетом щелкнул звонок. Надя досадливо закусил губу – гостей она узнавала по звонкам, – прошла в коридор, у замка помедлила, а когда распахивала дверь, на лице её уже застывала, как восковая отливка, нагловатая улыбка. За порогом стоял Андрей Горлоедов, в кожаной куртке, пропахший табаком и бензином.

– Я пришёл к тебе с приветом, – сообщил он. Дыхание Андрея было пропитано терпкими винными парами. – Перед гастролью решил отметить. – Горлоедов игриво подступал к хозяйке. – Принимай!

– Я думала, ты давно в Ленинграде, а ты здесь, – Надя щёлкнула себя пальцем по лбу, – «с приветом» и таким выхлопом.

– Грузчики – подлецы, – сказал Андрей. – Машину после обеда затаривали, ползали, как тараканы дохлые, – у бригадира ихнего именины. Ну, посидел с ними ради пользы – чтоб запас скорее вышел и руки от стаканов отцепились для дела. – Вид Андрей имел вдохновенный, он рассказывал, не замечая, что его до сих пор не пригласили войти. – А когда за баранку сел, приспичило мне пива. Подрулил к шалману на привокзальной площади, а там сегодня эта гнида – сержант Гремучий – дежурит. Труб-ба дело! Только я третью кружку пропустил, он ко мне подскакивает: ты же, говорит, за рулём, сивушник, гони червонец и – я тебя не видел! Вот паскуда! Пришлось отстег...

– Езжай куда ехал, – сказала Надя.

Андрей оглядел Надю рыбьим взглядом и спросил, стараясь подпустить в голос веселье:

– Кто ж от тебя, такой свежей, откусит? Зубарев? Или на школьного мыша заришься?

– Зарюсь. – Надя бесстыдно смотрела в разгорающееся лицо Горлоедова.

– Труб-ба дело! Ты меня, стало быть, гонишь?!

– Ага.

– Э-э, – протянул Горлоедов, – да ты серьёзно... – Он побагровел, развернул плечи и вздул на скулах злые гули.

– Ты бы перед Гремучим бычился, – сказала Надя. – А перед бабой не тем хвастают. Учёный – знаешь!

– Знаю: ты на наше хвастовство – копилка!

Надя смотрела на Андрея и медленно качала головой.

– Езжай. После потолкуем.

– Дорого яичко ко Христову дню! – Горлоедов сбежал по лестнице на один пролёт, на площадке его слегка качнуло, он обернулся, зло подмигнул: – Отставь торшер от кровати! – и, прыгая через ступеньки, загрохотал вниз.

Любовь для нас не может составлять только радость хотя бы потому, что она (любовь), как всё в мире, конечна. От этого горько уже в самом начале. Ещё куда ни шло, если б в людях она рождалась и умирала одновременно, но люди слеплены на разный фасон и износ любви у них разный. Так что душу кого-то из двоих обязательно ждёт дыба. Впрочем, радость и счастье, как мука и боль, ощутимы и названы лишь потому, что сами конечны. Всё названное – конечно. Вечно нет. И не надо... И так хорошо...

Учитель рассеянно ступал по влажному тротуару. Лужи, отражая сизое небо, казались до лоска затёртыми местами на асфальтовых штанинах улиц. Собственные его брючины липли к коленям, и те чесались под мокрой тканью. Учитель не замечал зуда, он помахивал дипломатом и, вспоминая, как хитроумно Алёша Зубарев избежал сегодня двойки по истории, улыбался носкам ботинок. После он думал *о ней*, окунался в тёплый трепет, ничего не мог понять и решить для себя – хаос чувств щемил сердце.

У овощного ларька было смрадно и пустынно. Выставленные за стеклом возле банок с мандариновым вареньем мелкие шелушащиеся луковицы не привлекали хозяек. Витрина отражалась, удваивая свою нищету, в распластанной у ларька луже. Учитель задумчиво вошёл в лужу, кивнул скучающему за стеклом Серпокрылу и, невольно морща нос, серьёзно сказал:

– Пожалуй, меня и в самом деле меньше тянет в Ленинград. Видите: ещё одна вещь становится мне ненужной. Скоро я сравняюсь в аскетизме с Диогеном и смогу обходиться без родины.

– Просто тебе стала нужна другая вещь, – возразил Роман Ильич. – В тебе, как и в «селянке», заменилась буква.

Внезапно за спиной учителя взвизгнула на тормозах машина. Он обернулся и увидел мордастый «КамАЗ», из кабины которого вываливался Андрей Горлоедов. Спрыгнув на асфальт, Горлоедов сжал кулаки и двинулся к ларьку – красный, всклокоченный, злой. Только теперь учитель почувствовал, что брюки его мокры и безобразно липнут к ногам. Мысли отряхнулись, сделались звонкими и прозрачными, пятки машинально нащупывали опору, руки соображали, куда примостить дипломат, если кругом – лужа.

– Ну что, кавалер, драть твою мать!.. – начал на ходу Горлоедов, но, дойдя до края лужи, в середине которой помещался учитель, остановился и разжал кулаки. – Труб-ба дело! – боднул он удивлённо головой. – Мафия!

Некоторое время, медленно гоня на скулах желваки, он прожигал учителя взглядом, потом картинно сплюнул на сторону и распорядился:

– Запомни: к Надьке не ходи. Ясно? Этот мармелад не тебя дожидается! – Андрей резко повернулся и зашагал к машине. Прыгнув на подножку, он потерял равновесие, но выправился, шлёпнул дверцей и с рыком сорвал «КамАЗ» с места.

Учитель протяжно выпустил из груди воздух. За плечом шелохнулось пространство, он перекинул взгляд назад, и губы его невольно растаяли в улыбке. Сзади стоял Серпокрыл – теребя в руках фомку, он смотрел вслед уезжающему грузовику. Губы учителя растекались шире. Серпокрыл, опережая вопрос, пригнулся к земле и, красный от натуги, завозил фомкой под ларьком.

– Надоела эта падаль, – сдавленно выдохнул он. И добавил: – Шиш достанешь! – Он выпрямился, плотный, шумно сопящий, и вдруг сощурился. – Что будешь делать, Коля?

От овощного ларька по улочке, обсаженной липами, учитель спешил к рынку. В поредевших липовых кронах трещали сороки. По дороге учитель выкурил подряд две папиросы, торопился, но, когда проскочил в ворота рынка, увидел, что ряды уже почти пусты и цветочницы не торгуют.

День падал в сумерки. Город становился блеклым, дома теряли фактуру, казались унылыми глыбами – останками подъеденной временем горной страны. Из колокольни гулко, как камнепад, катились наружу марши. *В душе – то огонь, то зола и пепел. Это делаешь ты.*

Около заветной двери учитель перевёл дух; помедлил, полируя и притирая друг к другу заготовленные слова, потом утопил кнопку звонка.

Надя стояла за порогом в светлой прихожей, мягкая, домашняя, халат с расчётливой небрежностью оставлял открытым накат её роскошной груди. Пропуская учителя в дверь, она отступила вглубь прихожей (волосы, угодив в случайный ракурс, вспыхнули под электрической лампой) и сыроватым голосом пропела:

– Я рада, что ты пришёл, я ждала тебя.

– Твой посыльный вырастет крупным жуликом – дипломатом или директором рынка, – сказал учитель, просыпая заготовленные прежде слова в какую-то головную мусорную щель. – Он обменял твоё приглашение на право не учить урок. Мне пришлось отпустить его с чистым дневником.

Надя вплотную подошла к гостю (волосы её пахли чем-то райским), расстегнула на нём куртку, просунула под полы руки, фыркнула, почувствовав щекой сырость и колкость свитера.

– Я ждала тебя, я рада, что ты пришёл, – повторила она прямо ему в лицо.

В комнате учитель сразу закурил. Он боялся своих свободных рук, боялся свободных губ. Хозяйка поставила на стол глиняную, облитую кофейной эмалью пепельницу и спросила:

– Ты купил вина?

– Нет. – Учитель пробежал пятернёй ото лба к затылку, создав на макушке ершистый вихор. – Я как-то не подумал.

– Хорошо, что подумала я.

Надя вышла из комнаты и вернулась с бутылкой «Акста-фы» и плетёной корзинкой, полной яблок. Яблокам надавали пощёчин до кровавого румянца. Попугай при виде корзинки взволнованно развернул крылья, прошёл по клетке вприсядку и наконец механически выдал: «Труб-ба дело». Надя взяла с подоконника лиловую шаль и накрыла клетку.

Когда они выпили, Надя без передышки снова наполнила бокалы и пылающим бочком подставила к носу гостя яблоко. Потом откусила сама и пристроилась на диване рядом с учителем.

– Скажи, – спросила она, слизывая с губ яблочную влагу, – разве в Ленинграде к женщине ходят без вина?

– С вином. Просто я бестолковый.

– Да, таких здесь больше нет, – подтвердила Надя. Тёплой ладонью она пригладила ему вихор и поинтересовалась: – Тебе не жарко в свитере?

В спальне пылали батареи. Надя снимала перед зеркалом серьги, выскальзывала из фланелевого халата и, голая, собирала в косу лучистые волосы. Учитель чувствовал в ногах лихорадку. Чтобы унять дрожь, привыкнуть к тому новому, что теперь у него было, он обнял сзади живую волну Надиного тела, поцеловал впадину ключицы, шею и, нерасчетливо угодив носом в волосы, захлебнулся их райским духом.

– Зачем ты шаманил на Горлоедова, Коля? – Роман Ильич сочувственно разглядывал учителя, просачивающегося с улицы в утренний коммунальный коридор. – Камлал? Звал на помощь птицу Хан-Херети?

– Что случилось? – устало поинтересовался учитель.

– Горлоедов в кутузке. – Серпокрыл изучал сонную фигуру соседа. – Вчера на площади его сержант Гремучий задержал – Горлоедов, как помнишь, выпивши был. Не знаю, что за вожжа ему под хвост угодила, только он Гремучего начал гонять по площади перед бампером, как немецкий танкист балладного солдата, пока тот от Горлоедова не спрятался в пивном шалмане. Тогда Горлоедов пообещал после сержанта в блин раскатать, на шалман, мол, у него рука не поднимается, и понесся со своим прицепом по городу лужи расплескивать. А потом загнал машину на крепостную стену, на самую верхотуру – там только гаишникам сдался. Самого в отделение отправили, а машину, как ни прилаживались, спустить не смогли.

Серпокрыл по-стариковски кашлянул в кулак.

– Впрочем, потом гаишники смекнули, что трезвому ни в жизнь не согнать эту механику вниз, и притащили назад Горлоедова. Посадили, как камикадзе, за руль, и он им устроил слабом – чистое художество!

Учитель молча пошёл к своей комнате. Закрыл за собой дверь, разделся и лёг в постель – уроков сегодня не было. Некоторое время он лежал закинув руки за голову, глупо улыбался в потолок, потом упал в глубокую светлую воду. Он видел беспокойный и радостный сон, будто он цветущий куст и его треплет ветер. Проснулся за полдень с флейтой в сердце.

Учитель уже оделся, когда в комнату заглянул Роман Ильич. С мокрого его плаща текли на пол тёмные ручьи.

– Свежий звон: королева Зубарева окрутила. – Серпокрыл поймал встречный взгляд, дёрнул щекой и, исчезая за дверью, проворчал: – Город мелкий – все на виду.

Я знаю, что это правда, но лучше бы я этого не знал. Для каждого есть что-то, чего ему лучше не знать, – так легче жить. Некоторое время, закрыв глаза и шевеля губами, учитель сидел на кровати, потом встал, выгреб из кармана горсть мелочи и поворошил пальцем монеты.

Улицу сёк хлётский, как проволока, дождь. Трубку сняли быстро, из неё просыпался деловой Надин голос:

– Слушаю!

– Зачем тебе Зубарев? – сказал учитель. – Зачем тебе все сразу?

– Всё в порядке! В по-ряд-ке! – повторила она, растягивая слово, как бельевую резинку.

Учитель повесил трубку. На миг ему показалось, что мир застыл, он не может вздохнуть, словно от удара в солнечное сплетение, – замерли в столбняке деревья, розги дождя, низкие цинковые тучи. Мир заклинило в безнадёжной мёртвой точке. Это было страшно. А через миг всё покатило дальше.

1987

Бутерброд для Нади

– А вот такого видал! – выпалил Андрей Горлоедов и, хрястнув ладонью в сгиб локтя, покачал в пространстве обрубком. – Я на прокурорской даче яму чищу – очень ему хочется в дерьме преть! – И он пошёл дальше, совсем не злой и, судя по гордо вздёрнутой голове, очень собой довольный.

А теперь я расскажу, как случилось, что Андрей позволил себе этот эксцентричный жест, и какая тому была причина.

Начну с предыстории. Год назад он учудил номер – не выехал по путевому листу в Ленинград, а вместо того, вдохновлённый баклановкой, загнал свой фургон на старую городскую стену, да так, что гаишники запарились спускать машину вниз. За это его по собственному желанию выперли из автоцеха обувной фабрики, где он осел после возвращения из армии. Потом Андрей месяц слонялся без дела, прогуливая остатки небольших сбережений со своей конкубиной Надей Беловой, – кстати сказать, все горлоедовские джигитовки и циркачества происходили большей частью с подачи этой гурии, – а после оформился ассенизатором в спецтранс. С цистерной-дерьмовозом он катался по окрестным деревням, пионерским лагерям, пригородным дачам (да и в самой Мельне не счесть домов, куда не дотянулась ещё своими капиллярами городская канализация) и отсасывал резиновой кишкой содержимое сортирных ям.

До того немалый срок копилось в них добро, так как гордая шоферня сторонилась цистерны и ни в какую не желала поступиться предрассудком ради городской сангигиены. Горлоедов же перед первым выездом самохвално заявил:

– Спросите любого тёртого, и он вам скажет: щепетильность нынче – себе дороже! – А после добавил: – Я в месяц столько накалымлю, за сколько вам год горбатиться! – И без смущения уселся в кабину дерьмовоза.

Надо сказать, что вначале ему не поверили. Ну да, платили ассенизатору не кисло – есть на хлеб, есть и на масло, – но не такие деньги, чтоб ради них марать достоинство в фекалиях. А чем покроешь недобор, если на закорках не кузов, а душистая канистра, куда левак не погрузишь? Без приработка у шофёра не жизнь, а слезы, – известно каждому.

Однако Горлоедов беспечно жал акселератор своего «ГАЗа» и, судя по личному его понту и обновкам гурии, в которых она являлась на люди, имел в кармане не только на хлеб с маслом, но и на гусиный паштет. Этот гусиный паштет и вызывал общее любопытство.

По-приятельски я сам не раз гонял с ним по округе, но дело смекнул не сразу. С виду всё было обычно: Андрей заезжал по адресам, указанным в ходке, болтал с хозяевами, набирал полную цистерну, а после, повозясь с кишкой у слива, врубал из баловства на выдох шесть атмосфер и замирал над судорожно клокочущим червём.

И так несколько раз на дню.

Но однажды, ещё до того как в «брехунке» – так в просторечии зовется наш «Мельновский труженик» – появился фельетон про некоего ассенизатора, послуживший причиной раздора между Андреем и Надей, мне удалось подсмотреть его немудрёное плутовство. В одну из наших поездок, когда Горлоедов чистил отхожие места по заявкам дачных хозяев, мы подкатили к участку заведующей заречинским универсамом толстомясой Хлопиной. Прежде чем заглушить мотор, Андрей дал ему рёвно потрубить, газуя на нейтрале. Он делал так и прежде, но смысла этого действия не объяснял. Потом он шагнул с подножки на утоптанную обочину и остановился в задумчивости у колеса.

Когда всплыла над забором украшенная пергидрольной копной голова хозяйки, он и глазом не повёл в её сторону.

– Дождались голубца! – сипло обрадовалась Хлопина.

Никогда раньше в лице Андрея я не видел такой беспредельной скуки.

– Труба дело, – сообщил он в пространство. – Баллон спускает.

– Ладно, милый, заезжай во двор.

Горлоедов утвердил на копне задумчивый взгляд. Синие его глаза подёрнулись мутной дымкой и мерцали, как перламутровые.

– Чего это, мать, я в твоём дворе не видал? У тебя там, поди, не Елисейские Поля, а навозные грядки.

На тугом, как антоновка, лице хозяйки зарумянилась тревога.

– Шутки тебе, – просипела она с зыбкой строгостью в гортани, – а у меня из очка плещет!

– Беда. – Андрей безнадежно скучал. – Тебя начальство на ту неделю расписало.

Чтобы лучше слышать, я тоже вылез на дорогу – в сегодняшней ходке у Горлоедова была вписана Хлопина.

– Как так? Заявку давно давала, – пыталась наступать хозяйка.

– Э-э-а... – зевнул Горлоедов. – Быстро только колбаса в твоём универсаме кончается. –

И не спеша добавил: – У меня теперь пионеры в очереди. Дети – святое.

Полминуты длилось молчание, потом из гортани Хлопиной потекло масло:

– Может, уважишь, раз тут случился...

– Показалось. – Андрей шлёпнул ногой по скату. – Держит, собака! – По всему было видно, что память о Хлопиной стремительно в нём слабеет.

– Почистил бы, а? – напомнила о себе хозяйка.

Горлоедов удивился:

– Цистерна не резиновая. Твоё возьмут – на пионерское места не хватит. Тебе – гигиена, а мне – от начальства по репе.

На яблочном лице Хлопиной, как пролежина, отдалась мысль. Хозяйка поманила Горлоедова к забору и что-то шепнула ему в ухо. Андрей отступил на шаг и оглядел её с укором.

– Ты так в бане не скажи – шайками закидают! – пообещал он. – Гальюн выгребать – это тебе не коленки воробьям выкручивать!

– Так сколько же, саранча?!

– Мне дармовые авоськи таскать неоткуда. – Андрей потянулся к дверце кабины. – Мне – по труду.

И он, ни к кому словно бы и не обращаясь, поделился с пространством, что, мол, чувствует себя неважнецки и на той неделе, видать, забюллетенит, а это совсем не ко времени, потому что заявок скопилось – уйма и работы ему пахать – не перепахать.

Хлопина заспешила:

– Ладно, будет по труду! – и, семена короткими, как у рояля, ножками, кинулась отворять ворота.

Позже, когда мы с Андреем уже катили по проселку, я спросил:

– И что же, такой оброк с каждой ямы?

– Как случится, – весело откликнулся Горлоедов. – От каждого по доходам.

– А казённое?

– Казённое – за голую зарплату.

Так открылась мне природа гусиного паштета, который Андрей жирно мазал на бутерброд для Нади.

А недели через полторы все читали «брехунок» с фельетоном под названием «Робин Гуд из спецтранса». В фельетоне был выведен безымянный ассенизатор, борющийся с недостатком зажиточных граждан при помощи изобретённой им строгой системы мздоимства. Там подробно излагалась шельмоватая схема, по которой Горлоедов выдавал обязанность за одол-

жение, и то, как благодарные заказчики ценят сговорчивость выгребного санитара. Мало того, затоваренная по персональной расценке цистерна часто не доезжала до слива, а, пробитая рублём, протекала на грядки соседних огородников – таким образом, одно и то же дерьмо проплачивали дважды. Там говорилось ещё, что есть деревни, где всем миром собирают ему складчину-братчину. Но это был явный перебор. Заканчивалась писанина безответным вопросом: «Кто же он, наш герой? Ловкий рвач или Робин Гуд, ещё не облагороженный легендой?»

Автором сочинения был Вовка Медунов, год назад окончивший ЛГУ и вернувшийся в Мельну с дипломом журналиста и гонором столичного ерша. Лично я, прочитав фельетон, Медунова пожалел – Андрей никому бы такого не спустил, хоть в разговорах под «баклановку» всегда ратовал за гласность. Скандала ждали многие, но только ничего такого не случилось, а случилось вот что.

Однажды мы сидели с Горлоедовым под кустом на берегу Ивницы и пили на его щедроты приобретённый винтовой кубинский ром. Было жарко, мы сняли рубашки и загодя остудили бутылку в речной воде. Андрей достал из сумки газетный свёрток, выудил оттуда нарезанный хлеб и четыре крепеньких солёных огурца, потом расправил газету, и я увидел, что это тот самый «брехунок» с «Робин Гудом из спецтранса». Ну, я и говорю, что, мол, иной бы такую памятку под стеклом держал, чтоб не пылилась, – не всякого, поди, прославят печатным словом, пусть и безымянно. И так ведь всем понятно, о ком речь.

– Да, – говорю, – одну памятку под стекло, а другую – пасквилянту под глаз, чтоб за правило держал: себя блюди – на ближнего не дуди.

Горлоедов ухмыльнулся, но ответил не сразу, вначале отхлебнул рому из жестяного стаканчика и смачно закусил пупырчатым огурцом.

– По справедливости, не Медунова вздрючить следует, – наконец сказал он, встряхивая пачку «Беломора». – Как думаешь, от кого он наколку получил? Не сам же он в цистерне сидел. – Андрей и мне протянул полный стаканчик. – Я как до складчины-братчины дошёл, сразу понял, откуда сифонит. Складчину я только одному человеку для красного словца сочинил.

И тут я догадался.

Потом мы выпили вдогонку и занюхали горбушкой. Речка подёрнулась чешуйчатой рябью, над ней замирали стрекозы и макали хвосты в воду. Мы сидели в тени посреди лета и очень друг друга понимали – даже молчать было не скучно. А может, Горлоедов что-то ещё про себя берег, но по нему было не понять.

– И в какую сторону ты теперь думаешь? – спросил я.

– А в такую, что если я Надьке это с рук спушу, то и Медунова не трону.

– Справедливо.

– Труб-ба дело! – Андрей снова налил. – Да по мне, что в шапку плевать, что «брехунок» полистывать – печали мало. Фельетон – не факт, а пустая фантазия, за неё меня ногтем не прищемишь. Пусть только премией обнесут – год будут искать на дерьмовоз охотника!

– Да, – согласился я. – Ты санитар скворечников, тебя нельзя лишать премии.

И мы опять выпили. Потом он говорил, что, мол, за карман свой не дрожит, у той же Хлопиной он ни в жизнь без подмазки пальцем не пошевелит, так что не опустеет рука берущего и нет у него на этот предмет никакой головной боли. Слушать Горлоедова было приятно, и, чтобы дать ход его вдохновению, я спросил:

– Что же ты печальный, раз тебе по барабану?

– Я не печальный, я злой.

– На Надьку?

И тут Андрей заговорил о другом. Такова уж его манера – отвечать с выходом из-за печки. Он выразил сомнение в реальности воплощения идеи мира без войн, ибо женская половина человечества всегда бессознательно будет этому препятствовать. По-горлоедовски выходило,

что в основе всякой агрессии лежит озверение властей предержавших, а из всех причин озверения самая неистребимая – это клиническое женское непостоянство.

– Твоя теория войн чужда марксизму, – сказал я, дождавшись паузы.

– Когда мужика бросают, он становится бешеным.

Тень от куста сползла в сторону, и мы перебрались за ней следом. От земли тянуло свежестью, и на голое тело прыгала любопытная травяная мелочь.

– Тебе, стало быть, от Нади отставка вышла? – спросил я.

И он рассказал, как за его спиной гурия спелась с этим кенаром Медуновым, который-де на самом деле только на то и годен, чтобы портить своим трезвоном всенародную районную подтирку – кто-кто, а он-то знает, как используют граждане свой печатный орган. Оказалось, теперь Надя не только отказывает Горлоедову в ласке, но уже держит его за такой незначительный предмет, что намерена обменять на этого...

А закончил он так:

– Я – гигиена, а он – пачкун. От его работы человеку один рак прямой кишки достается! – Андрей воткнул окурочку бело-морины в дёрн, плеснул в стаканчик кубинского горючего и добавил: – Крахмаль манжеты и гладь шнуры – через месяц они сочетаются законным браком.

Теперь, пожалуй, надо сообщить кое-что о Наде Беловой.

Прозвище «гурия» очень подходило её наружности: была она стройна и высокогруда, а кожу имела такую чистую и гладкую, будто вместо Адамова ребра Господь смастерил её из рулона мелованной бумаги. Что же до качеств внутреннего свойства, то к царскому правилу: жены цезаря и подозрение касаться не должно, – она никакого сочувствия не питала. Понимать это, само собой, следует не прямо, так как замужем она никогда не была и вообще представить Надю в этом положении при её независимой и взбалмошной натуре было весьма непросто. Понимать надо так: чихать она хотела на то, что говорят о ней в городе.

Все Надины увлечения случались стремительно и непредсказуемо. При этом она с лёгкостью забывала о недавней страсти, полностью, с удивлением и даже недоверием от неё отстраняясь. Зато в новом сердечном порыве ни в чём себя не сдерживала и не признавала никаких выжиданий и проволочек.

С Горлоедовым Надя амурничала уже года три. Причём за это время не раз расправляла крылышки и выпархивала из его горсти на свободу. Ловить её тогда было бесполезно – оставалось ждать, когда она утомится и сама решит: лететь или не лететь ей обратно. До сих пор она возвращалась, но и о замужестве никогда прежде речи не было. Однако Андрей спокойно ждать не умел – при каждом её такого рода выкрутасе он, что ли, немного съезжал с петель и начинал чудить. В такое время он становился бесконвойным и выкидывал номера, которые впоследствии получали, как правило, статус местных преданий.

Так вот, когда Горлоедов открыл мне на берегу Ивницы свою злость, стало ясно, что вскоре он зачудит. Для многих такой оборот дела был явно на руку – начиная баловать, Андрей переставал вести счёт деньгам и, не имея привычки пить в одиночестве, щедро тратился на собутельников.

Однако меня больше интересовала сама развязка истории, тот неожиданный кунштюк, какой обычно выкидывал Горлоедов на вдохновенном пике своей обиды.

Итак, Надя выпорхнула...

Наследила лужами дождливая неделя, потом снова припекло, размяк в городе асфальт, а Горлоедов всё не чудил. Уже было известно, что Надя заказала к свадьбе розовое платье и шляпку с флёр, а жених – серый крапчатый костюм. Уже был снят зал в полуподвале чебуречной «Тамара», куплены кольца и магазинная безнаценочная водка, а Горлоедов всё пил и не думал оправдывать моего ожидания.

Наконец пришёл медовый август. Однажды, за несколько дней до свадьбы, мы с Андреем случайно столкнулись на улице. Он только что сдал смену и теперь шёл в предприятие общепита грабительской категории тратить дневной навар. Я был тут же приглашён на пестринку и, не имея срочных дел, двинул с ним к «Тамаре».

В чебуречной было много народа, однако Горлоедов проявил волю и напор, и мы удачно захватили угловой столик рядом с невысоким полуподвальным окном. В зале было сумеречно и душно, окна – через одно – были распахнуты настежь, но свежий воздух доставался лишь тем, кто сидел непосредственно под отворённой рамой. Через десять минут на нашем столе появилась бутылка «Пшеничной» и ароматная жаркая бастурма. Я разлил водку по рюмкам, а Андрей выжал на мясо кружок лимона и покрапил сверху кетчупом из соусницы.

– Сладко живёшь, – заметил я, когда мы выпили.

Горлоедов расстелил на лице долгую улыбку.

– Хочешь – поменяемся.

– У меня не получится, – сказал я. – Зарабатывать деньги, а тем более их тратить – особый дар. В нём можно совершенствоваться, но его нельзя приобрести.

Горлоедов согласился и добавил к моим словам своё раздумье о дарах – дескать, хорошо бы озадачить отечественную фармакологию на подходящие средства от некоторых прирожденных свойств природы, а то у неё дальше антабуса и адонис-брома дело не идёт, ну а что бы стоило сочинить вакцину от блядства – он, мол, сам бы согласился делать такие уколы некоторым микрощёлкам и даже не потребовал бы от Минздрава зарплаты. Принимая его тон, я ответил, что лично его на такую работу допускать никак нельзя – самому ему сперва надо пройти вакцинацию, потому что, как пить дать, сделав болящей девице укол, он на этом не остановится, а тут же пустит в ход ещё один шприц и поставит другой укол, чем испортит всё лечение.

– Ещё не хватало, чтоб за это ты брал деньги, – устыдил его я.

Горлоедов снова согласился, и мы выпили. Потом жевали сочную бастурму и под свежий ветерок из-за трепетной занавески вспоминали былые наши пестринки и безобразия – всё то, что обычно вспоминают старые приятели, в совместной памяти которых кладь прошлого уже перевешивает груз их общего настоящего. За этим разговором прикончили «Пшеничную», и Андрей заказал новую бутылку, а к ней – две порции чебуреков.

– Ты вот что, – сказал он, когда официантка принесла заказ, – к Надьке на свадьбу не ходи – не надо.

– Меня и не звали...

Я было уже собрался узнать, что он задумал, но тут в зал впорхнула резвая тройка наших общих с Горлоедовым подружек, и они сразу оживили наш угол неугомонным щебетом. С ними пришло смятение, о котором невозможно говорить без горечи и стыда. Помню: неграмотно пили водку с портвейном и выдавали девицам фруктовые призы за длину ног и объём талии, которые (длина и объём) измерялись шнурком от моего ботинка. Потом из проказниц был организован хор, и мы с Горлоедовым отплясывали какой-то весёлый угловатый танец под их звонкие рулады. Через эту цыганщину кроме горлоедовских сортирных рублей с песнями был пропит мой последний червонец. Потом Андрей со стоном: «Всех вакцинировать наискось!» – растворился в звёздной августовской вселенной, а я, выпав из всех координатных систем, целовался с кем-то на широком белом подоконнике, висящем в неведомом пространстве. Что было после – и вовсе безнадежная тайна. Но обошлось без непоправимого – утром я очнулся на лавке в привокзальном сквере с пустой до звона головой, без одного шнурка и со сломанной молнией в ширинке.

Собственно, это не имеет отношения к делу, просто я хотел сказать, что не успел добиться от Горлоедова признания относительно его коварных замыслов, по всему тогда уже достаточно созревших.

Я доверился совету Андрея и не предпринял никаких действий, чтобы оказаться в назначенный день среди гостей в «Тамаре». Видимо, он не хотел, чтобы я оказался непосредственным свидетелем события, и, судя по вескому тону, имел на то убедительные соображения.

В неподвижный и душный, как уют, августовский вечер я шёл к соборной площади в гастроном, где работала одна из трёх девиц, с которыми я и Горлоедов разделили ужин в чебуречной. Утром она позвонила мне на службу и пропела в трубку, что, дескать, к ней в отдел завезли копчёные сосиски и она, памятуя, как я извел последнюю десятку, взяла на меня полтора килограмма. Благодарности моей не было предела. Я брёл, обмахиваясь свежим «брехунком», и размышлял о странностях женской натуры, которая бессовестно позволяет всем этим чертовкам и бестиям пропивать с тобой твою последнюю заначку, но при этом не позволяет бросить тебя голого и голодного, а заставляет кормить и содержать без ясной нужды, а единственно из чёрт знает какого сочувствия или полностью немотивированной признательности. Потом я стал думать: причастен ли этот ангел к поломке молнии в моих джинсах или нет, но ни к какому выводу прийти не успел, потому что тут на моём пути возник Андрей Горлоедов. Он шагал мне навстречу в своей рабочей куртке с оттянутыми карманами и художественно насвистывал марш Мендельсона.

– Со свадьбы, что ли? – предположил я прозорливо.

– Ага! – Небесные глаза Горлоедова лучились как-то уж слишком безмятежно. – В гробу я видел такие свадьбы. Это не свадьба, это – писк замученной птички!

– Что ж ты, дружок, такой трезвый? Не налили?

– А я сам угощал.

Меня все больше распирало любопытство.

– Что, так на всю свадьбу и выставил?

– Труб-ба дело! – сказал Горлоедов. – Это пионеры выставили, а я только к «Тамаре» подвёз. Сунул кишку в окно и – шесть атмосфер на выдох!

Я внимательно посмотрел на Андрея – он и вправду был совершенно трезв. И тут передо мной мгновенно соткалась зыбкая картинка: свадебный стол с закусками, принесённая с собой водка, розовое платье невесты и крапчатый костюм фельетониста, а надо всем этим – дрожащая кишка и смердящий бурый поток...

– Полная цистерна!.. – ликовал Горлоедов.

– Тебя посадят, – с сожалением сказал я.

– Ну да?!

– Да, – подтвердил я. – За использование государственной техники в личных целях.

– А вот такого видал?! – выпалил Горлоедов и, хрястнув ладонью в сгиб локтя, покачал в пространстве обрубком. – Я на прокурорской даче яму чищу – очень ему хочется в дерьме преть!

И он пошёл дальше, совсем не злой и, судя по гордо вздёрнутой голове, очень собой довольный.

Знаки отличия

Бессмертник

Сменив имя сотни раз, настоящего он, разумеется, не помнил. Для ясности повествования назовём его Ворон, ибо ворон живёт долго.

Он родился в христианской стране, в семье горшечника. Счастье его детства складывалось из блаженных погружений голых пяток в нежную жижу будущих горшков, из путешествий по узким улицам-помойкам, из забиваний палками жирных крыс в мясном ряду рынка, из забавного сцепления хвостами собак и кошек, из посещений ярмарок, где смуглый магрибский колдун в шерстяном плаще с бархатными заплатами показывал невероятные чудеса вроде пятиглавого и пятихвостого мышиноного короля или удивительного человекогусеницы с веснушчатым лицом и длинным мохнатым туловищем, внутри которого, казалось, катаются большие шары. За особую плату гусеницу разрешалось покормить рыхлым кочанчиком капусты, похожим на зелёную розу, и расспросить о своей судьбе.

Ворон любил глину за то, что в пытке огнём она обретает земную вечность, и годам к четырнадцати выучился делать неплохие горшки – от щелчка ногтем тонкие их стенки звенели, будто медный колокольчик. Почуввав выгоду, отец бросил ремесло, посадил за гончарный круг сына, а на себя взял труд торговать звонкими горшками. Дар мальчика сломал счастливое течение его дней. Но по принуждению глину Ворон ласкал без любви, ему было милей воровать на рынке кислые яблоки, и он убежал из дома в пыльный город. Дабы развить в сыне усердие, горшечник позвал кузнеца в кожаном фартуке, и тот заключил цыплячью шею Ворона в железный обруч, скрепив его цепью с кованым кольцом у гончарного круга. Братья и сёстры, не имевшие дара к творению тонкостенных горшков, с глупыми лицами прыгали вокруг Ворона и, как собаке, кидали ему кости.

Страшными проклятиями ярмарочных цыган Ворон проклинал свои руки, сделавшие его цепным псом, он завидовал неумелым рукам своих сестёр и братьев, он плакал над быстрым гончарным кругом, и слёзы его вкраплялись в стенки растущих горшков. Эти слёзы принесли ему новое горе – после обжига горшки на удар ногтя по румяной скуле отвечали залившимся детским смехом. Со всего рынка сбегались люди к удивительному товару и не стояли за ценой.

Год сидел на цепи Ворон. Дабы не оскудели в нём чудесные слёзы, отец кормил его вяленой рыбой и подносил воду вёдрами. Спал Ворон тут же, у ненавистного гончарного круга, в аммиачном запахе мочи, на старой, прохудившейся дерюге. Глаза его обесцветились и сделались жидкими, немытое тело покрылось вонючей коркой, он искрошил зубы, грызя ночами подлую цепь, выл во сне, как воют наяву псы, цыплячью его шею под железным обручем опоясала гноящаяся кольцевая рана.

Через год такой жизни, на карнавальном неделе, бывший горшечник решил подарить сыну, которого ошейник уже научил кусаться, день воли. Намотав на руку цепь, горшечник привёл Ворона на площадь – он покупал ему липкие палестинские финики, лидийский изюм, солнечный лангедокский виноград и сладкие орехи из Кордовы; отец не скупился – теперь смеющиеся горшки за звонкую монету скупали у него арабские и гемузские купцы, знающие настоящую цену любому товару и за любой товар дающие лишь половину настоящей цены.

На площади под высоким выгнутым небом разложили коврики акробаты: татуированная женщина с лапшой мелких косиц на голове обвивала ползучим телом собственные ноги, голые по пояс борцы ударяли друг друга о землю с такой силой, что шатались опоры, растягивающие струну канатоходца; тулузские музыканты щипали струны, дули в свирели и высоко поднимали голосами песню о храбром Оливье – паладине великого Карла; у палатки бородастого

рахдонита, торговца человеческим товаром, доставившего в город красивейших женщин мира – желтоволосых славянок, чёрных нубиек, хазарок с иволистными глазами, – толпились воры и стражники, желающие за серебряную монету купить на час тело полюбившейся рабыни.

Отец водил сына на цепи по пёстрой площади до тех пор, пока не возникла на их пути красная, как сидонский пурпур, палатка магрибского колдуна.

– Я хочу узнать свою судьбу, – сказал Ворон.

– Будь ты послушным сыном, – предположил горшечник, – судьба бы сделала тебя мастером гильдии, но ты – бездельник и мерзавец, поэтому – вот твоя судьба! – И он звонко тряхнул цепью.

– Кто там звенит деньгами, вместо того чтобы купить на них тайны будущего? – послышался из палатки голос магрибца.

– Я хочу знать, – сказал Ворон, – долго ли мне суждено делать для тебя горшки.

Горшечник решил, что это действительно полезное знание. Он дал сыну монету и на цепи спустил за полог палатки.

– А где мышиный король? – спросил Ворон, получив от магрибца капустный кочан и не найдя за ворохом колдовских трав иных чудес, кроме человекогусеницы.

– Он умер в Никее полгода назад, – ответил магрибец и вскинул руки, унизанные браслетами и перстнями. – Все мыши Вифинии сошлись на его похороны. Это было жуткое зрелище – три дня Никее походила на сахарную голову, обронённую у муравейника! Триста тридцать человек было съедено мышами заживо! При этом никто не считал сирот и чужестранцев!

Магрибец умел гордиться даже тем, что потерял.

– Я вижу на девятьсот лет вперёд, – сообщил провидец, насытившись капустой, – я вижу, как гибнут и зарождаются царства, я вижу будущих властелинов мира и их будущих подданных, я знаю о грядущих ураганах, морах и войнах, я вижу коварный дар, скрытый в тебе, Ворон, но я не вижу твоей смерти.

– Что ты сказал? – удивился хозяин палатки.

– Я вижу на девятьсот лет вперёд, – повторил человекогу-сеница, – и я вижу его живым.

Магрибец поднялся из вороха своего колдовского хлама.

– Почему на тебе ошейник, оборванец? Ты сторожишь дом своих почтенных родителей?

– Нет, я делаю им горшки, в глину которых подмешаны мои слёзы. Эти горшки умеют смеяться, потому что огонь превращает глину в камень, а мои слёзы – в смех.

Магрибец посмотрел на Ворона глазами, похожими на два солнечных затмения, – вокруг чёрных зрачков плясало пламя, – но Ворон выдержал его взгляд. Тогда магрибец расхохотался, так что задрожал его плащ с бархатными заплатами, и выскользнул наружу.

– Сколько золота ты хочешь получить за своего сына? – спросил колдун горшечника, который стоял у палатки с цепью в руке и общипывал губами кисть винограда.

– Пока он сидит у меня на цепи, я буду иметь столько золота, сколько найдётся в округе глины, – усмехнулся горшечник.

– Я превращу тебя в свинью, – сказал колдун, – тебя зажарят на вертеле посреди площади, и твои соплеменники сожрут тебя, потому что ни правоверные, ни даже иудеи-рахдониты такое дерьмо, как ты, есть не станут!

Ещё три унижительные смерти предложил на выбор магрибец, он даже показал мазь, которая превратит горшечника в жёлтую навозную муху, и показал бычью лепёшку, на которой его раздавит копыто вороного жеребца городского глашатая, он хохотал, браслеты звенели на его смуглых запястьях, но горшечник разумно выбрал жизнь. Колдун дал ему всё, что у него было, – тридцать золотых солидов, двенадцать из которых были фальшивыми, – и горшечник ушёл прочь, бросив цепь на землю. Под стенкой палатки валялась суковатая палка; магрибец поднял её, воткнул в землю и повесил на сучок цепь.

– Я превратил твоего отца в сухую палку, – сообщил колдун, вернувшись к Ворону. – Ты можешь сжечь её или изломать в щепки, но даже если ты этого не сделаешь, ты всё равно свободен.

– Кто теперь будет кормить мою мать, моих паршивых сестёр и братьев?! – воскликнул Ворон.

– Я устроил так, что сегодня над твоим домом прольётся золотой дождь, – сказал колдун. Ворон выдернул из земли кривую палку и смерил её жидким взглядом.

– Я сделаю из своего отца посох, чтобы пройти больше, чем могут мои ноги.

– Меня зовут Мерван Лукавый, – сказал магрибец, – а Мерваном Честным будешь ты.

Так, расставшись с жизнью цепного пса, Ворон впервые сменил имя.

Мерван Лукавый взялся образовывать Ворона в науках. Познания Мервана были велики: колдун рассказывал юноше о морской миноге четоче, которая одарена такою силой в зубах и мускулах, что способна остановить галеру, рассказывал об огромной птице Рух, кормящей птенцов слонами, о странах, где живут люди с собачьими и оленьими головами, люди без глаз и люди, которые полгода спят, а полгода живут свирепой жизнью, рассказывал о древнем Ганнибале, проделавшем проход сквозь Альпы при помощи укуса, и об Абу-Суфьяне, который, спасаясь от гнева ансаров, оборачивался гекконом. Он говорил, что в горах нельзя кричать, ибо крик способствует образованию грозных облаков, что лев боится петушиного крика, что рысь видит сквозь стену, что далеко в Китае живут однокрылые птицы, которые летают только парой, что адамант можно расколоть с помощью змеиной крови и крысиной желчи, что угри – родственники дождевых червей и ночами выползают на сушу, дабы полакомиться горохом, что крокодил подражает плачу младенца и тем заманивает на смерть сострадательных людей. И ещё Мерван Лукавый показывал чудеса: изрыгал из уст пламя, выпускал фазанов из рукавов рубахи, выпивал отвар африканской травки и на сорок часов становился мёртвым, – а воскреснув, объяснял, как по роговице глаза безошибочно определять супружескую неверность, доставал из уха серебряную цепь и вызывал духов. Но это умение, говорил он, – благовонный дым, это ловкое знание – не чудо. Душа же его тянется к истинно чудесному. Но пока из честного чуда он имеет лишь человекогусеницу. Однако он, Мерван Лукавый, видит своими глазами, похожими на солнечные затмения, что ты, Мерван Честный, тоже будешь чудом – человек, чьи слёзы побеждают немоту мёртвой глины, должен побеждать собственную смерть.

– Вот ещё что, – сказал колдун, – ты должен мне сто золотых монет – ровно столько золота я пролил над твоим бывшим домом. Пока ты не вернёшь мне долг, ты – мой раб.

Ворон ошупал на шее заживающую рану.

– А разве мышиный король – не чудо?

Магрибец расхохотался, браслеты зазвенели на его запястьях, а глаза закатились так, что в глазницах остались одни сверкающие белки. Он рассказал о любимой детской забаве в африканской Барбарии: тамошняя чёрная детвора сажает беременных мышей в маленькие узкогорлые кувшины, откуда выползает разродившаяся мать, но где остаются сытно подкармливаемые, быстро толстеющие мышата. В тесном пространстве мышата срastaются безволосыми телами, потом покрываются общей шкурой, и из разбитого кувшина извлекается готовый уродец – мышиный король, которого смеха ради может купить проезжий караванщик.

– Чудо сродни уродству, – сказал магрибец, – поэтому их часто путают.

А человекогусеница взялся ниоткуда. Он молчит о своём рождении, хотя ему ведома быль прошлого и известны тайны будущего. Может быть, его, как камень Каабы, родило небо или, как Тифона, земля – для человека это всё равно «ниоткуда», ибо человекогусеница рождён *неподобным*. Мерван Лукавый нашёл его два года назад в Египте, недалеко от Гелиополя, где магрибец продавал глазные капли, с помощью которых можно увидеть сокрытые в земле клады. Человекогусеница сидел на цветущей смоковнице у дороги и обгладывал с веток семи-

пальчатые листья. Колдун испугался уродца, но фиговый сиделец обратился к нему по имени и сказал, что обладает даром смотреть сквозь время и видит, что путям их до срока суждено соединиться. С тех пор Мерван Лукавый путешествует по плоской земле, по измождённым и благодатным её краям, вместе с гелиопольским провидцем и получает деньги за свои чудеса и его пророчества, которые неизбежно сбываются.

Так обучал своего раба магрибский колдун, разъезжая по свету в повозке, крытой ивовым плетеньем. Но Ворон оказался бестолковым учеником. Он не мог научиться пускать серую пену изо рта, когда Мерван Лукавый демонстрировал на нём действие снадобья для излечения бесноватых, не мог научиться глотать живого ужа, чтобы изображать преступника, совершившего грех кровосмешения и за это обречённого до скончания дней плодить в своём чреве скользких гадов и до скончания дней вылёвывать их наружу, – даже фазаны не летели из рукавов его рубахи. И магрибец до поры отступился. Лишь в одну плутню допускал бестолкового раба Мерван Лукавый: отваром африканской травки колдун убивал Ворона, а через сорок часов при скоплении любопытного народа воскрешал бездыханное тело, окропив его составом, приготовленным из скипидара, уксуса и собственной мочи. Разлитую по склянкам жидкость магрибец продавал желающим, предупреждая, что снадобье возвращает к жизни лишь тех, кто покинул мир, не имея в сердце обиды на родственников, любовников, любовниц, друзей и врагов, жаждущих убить мертвеца ещё раз, – словом, на тех, кто хотел бы воскресить имеющийся труп.

Да, Мерван колдовал, показывал фокусы и продавал открытые им чудотворные снадобья, хотя вполне мог обойтись без обмана, приняв на себя труд лишь собирать плату за предсказания гелиопольской гусеницы. Он говорил, что делает это от избытка лёгких вод в крови и не видит в своём плутовстве ничего дурного – ведь деньги, уплаченные за зрелище, никогда не бывают последними.

В повозке, запряжённой мулом, магрибец, Ворон и мохнатый провидец колесили по дорогам мира, на которые, как бусины чётки на шнурок, нанизывались селения и города, раскидывали на базарных площадях шёлковую палатку с расшитым арабеской пологом и под остроты Мервана Лукавого освобождали от лишних денег кошельки зевак. Дела их шли вполне сносно, Мерван купил себе новый плащ – целиком из аксамита, – и у него снова появились золотые монеты. Но однажды, в глухую ночь, похожую на смерть вселенной, Ворон проснулся от шороха крыльев. Он открыл глаза и в углу палатки, где вечером лежал человекогусеница, увидел невероятную птицу, чьё оперение бледно светилось в ночи, как горящий спирт. Ворон зажмурился от испуга и вновь услышал шорох крыльев, а когда осмелился распахнуть веки, в палатке больше не было ни птицы, ни человекогусеницы. Растволкав магрибца, Ворон поведал ему о чудном явлении. Мерван зажёл свечу, осмотрел утробу своего жилища, потом выскочил наружу и долго кричал в черноту ночи, умоляя гелиопольского провидца вернуться и обещая впредь кормить его только инжиром и лепестками роз. Но пространство ночи было безответно. Магрибец ступил в палатку угрюмым, сел на циновку и погрузился в раздумье. Не сходя с места, просидел он остаток ночи, день и снова ночь, и лишь на второе утро Мерван ожил, повалился на спину и захохотал, звеня браслетами и закатывая глаза так, что в глазницах оставались только мраморные белки.

– Я знаю, что случилось с моей чудесной гусеницей! – кричал колдун сквозь смех.

Ворон не стал задавать вопросов Мервану, потому что ему не нужно было думать почти двое суток, чтобы догадаться: гелиопольского провидца стащила птица с перьями из бледного огня. Когда лицо магрибца налилось бурой кровью, а живот стало сводить судорогой, Мерван Лукавый выплюнул свой смех вместе с жёлтой слюной за полог палатки и начал говорить.

Кто бы мог подумать, что три с лишним года он разъезжал по базарам и ярмаркам этого грубого, глупого мира со священным Фениксом! Как он, Мерван Лукавый, не понял сразу природу дива, явившегося ему под Гелиополем! Куда смотрели его слепые глаза и где была его

глупая голова? Слушай же, бестолковый ученик, слушай, никчёмный раб, слушай, владелец дара, закупоренного в хозяйине надёжней, чем закупоривают в кувшин джинна, слушай, Мерван Честный, слова выдавшего виды магрибского чародея! В знойной Аравии, в оазисе, которому в подмётки не годится славный Джабрин, живёт царь птиц Феникс. Пятьсот лет он блаженствует на райском островке, стиснутом плавающими песками; редкий заблудший караван заходит туда, дивятся купцы пламенному Фениксу, но, покинув оазис, привести к нему караван второй раз ещё никому не удавалось. Пытались караванщики ловить невиданную птицу – горят в их руках сети, пытались, глупцы, убить – вспыхивают в руках луки. Феникс вечен. И Феникс смертен. Феникс – вечная и смертная жизнь. Каждые пятьсот лет прилетает он из аравийского оазиса в египетский Гелиополь и собственной огненной силой сжигает себя в своём святилище, в кругу своих жрецов. Но из небытия жизнь никогда не восстаёт в прежнем величии – не надо быть Мерваном Лукавым, чтобы знать это. Величие приходит со временем – ведь и солнце за силой ползёт к зениту! Из пепла священного Феникса возрождается личинка – гусеница. Сорок месяцев Феникс живёт в червячном обличье и лишь затем преобразуется в дивную птицу и опять улетает в блаженный аравийский оазис.

– Ты понял меня, никчёмный раб, имеющий горшок на месте головы?

– Понял, – сказал Ворон.

– Что ты понял?

– Я понял, что многие кошельки больше для нас не развяжутся.

Мерван Лукавый подступил к Ворону с новой попыткой сделать его вместилищем тайных знаний, ловчилой, колдуном, ярмарочным проходимцем. Вначале он хотел открыть в подопечном призвание к толкованию снов, но для этого занятия у Ворона не хватало красноречия. Потом он хотел сделать Ворона умельцем любовных приворотов и заговоров от мужского бессилия, но ученик был столь непорочен, что у всякого, прислушавшегося к его бормотанию, от смеха осыпались с одежды крючки и пуговицы. Потом магрибец пытался обучить Ворона чревовещанию, но чрево его оказалось ещё немногословнее, чем язык. Потом Мерван учил его определять по звёздам цену товаров в разных частях света, чтобы купец мог заранее рассчитать исход задуманного предприятия, но Ворон был не в ладах с арифметикой и всякий раз предсказывал нелепицу. Тогда, выронив последние крупички терпения, колдун плюнул Ворону в глаза и сказал, что продаст его в рабство первому, кто согласится дать за этот сосуд с нечистотами хотя бы половину сушёной фиги, ибо большего существо, владеющее наукой страдания, но лишённое железы благодарности, не стоит.

Словно юркие муравьи, разбегались слова из уст магрибца. Закончив речь, колдун встал, запахнул бархатный плащ и откинул полог палатки, расшитый геометрией арабески, – он спешил, он хотел скорее найти Ворону покупателя. Таков был Мерван Лукавый – он мог часами творить мази, не имевшие целебной силы, мог с бесстрашной зевотой обыгрывать в шашки греческого архонта, мог успешно доказывать мореходам, будто шторм – следствие брачного танца гигантских морских черепах, но, когда линия его судьбы забиралась в глухую тень, душа его каменела.

Выйдя из палатки, Мерван споткнулся о суковатую палку, в которую когда-то превратил отца Ворона и которая теперь служила Ворону посохом, упал на оглоблю повозки и сломал себе ребро. Колдун корчился на земле и при каждом вздохе скулил, как побитый пёс. Ворон подошёл к этому жестокому, весёлому плуту, умеющему различать жадных и щедрых людей по форме ушей, и присел рядом на корточки. Пыль погасила блеск бархатного плаща магрибца, смуглое его лицо подёрнулось паутиной муки. Ворон смотрел на это лицо и невольно повторял гримасы искажавшей его боли – Ворон проникал в боль Мервана, примерял её, будто незнакомое платье, искал ворот, нащупывал норы рукавов... и вдруг почувствовал, что разобрался в фасоне и может, если захочет, платье это надеть. Быстро нырнули руки Ворона в рукава... И тут же горячая боль впилась ему в бок, повалила на землю, остановила дыхание, залила мутью

глаза. Сквозь жаркую пелену увидел Ворон, как поднялся на ноги Мерван, распрямился и со счастливым удивлением обратил к своему никчёмному рабу глаза, похожие на два солнечных затмения.

За два года собрал Ворон сто золотых монет, которые Мервану не был должен. За два года круто изменилась жизнь бродяг. Благодаря прорвавшемуся дару Ворон заменил гелиопольского провидца – не предсказанием грядущего, но чудом собственным, – и Мерван Лукавый превратился из базарного шарлатана в посредника, поставляющего Ворону богатых страдальцев.

Ворон не мог излечивать часто, ибо коварный дар его не просто освобождал больного от недуга, но переносил недуг на целителя, заставляя страдать за больного отмеренный болезнью срок. Только и плата за освобождение от сиюминутной боли не равнялась с платой за приподнятый занавес над смутным будущим. Но не всякая боль поддавалась Ворону – не лезла на его плечи та хворь, которая неизбежно кончалась смертью. Он понял это, пытаясь однажды утолить мучения любимого пса дамасского вельможи, когда необъезженный скакун копытом перебил собаке хребет. Впервые со времени пробуждения дара Ворон не смог помочь страждущему существу. Пёс умер. Вельможа хотел утопить Ворона и Мервана в чане с дёгтем, и он исполнил бы задуманное, если бы магрибцу не пришла в голову счастливая мысль предложить хозяину мёртвой собаки избавить от страданий одну из его жён, которая как раз собиралась разрешиться от бремени.

Ужасной бранью оскорблял Ворон судьбу за её жестокий дар, он умолял снова приковать его цепью к гончарному кругу, а в обмен на эту милость соглашался отдать любому, кто пожелает, способность помогать роженицам терзанием собственного тела – терзанием, за которое не воздаётся счастьем материнства.

Приобретая власть над человеческой слабостью, Ворон терял невинность. В Трапезунде – очередной бусине на шнурке чёток – врачеватель и магрибец повстречали акробатов, которые выступали в родном городе Ворона в тот незабвенный день, когда горшечник решил вывести сына на прогулку после цепного сидения. Мерван Лукавый пошёл искать богатых деньгами и болезнями горожан, а Ворон присел у повозки акробатов и, отправляя в рот из горсти чёрные ягоды шелковицы, лениво посматривал на трюки потных силачей и изящных, как шахматные фигурки, канатоходцев. Он брал лиловыми от шелковичного сока губами последнюю ягоду, когда из повозки показалась женщина, татуированная под змею. Женщина спустилась на землю, и на земле стала заметна её хромота. Смуглое лицо танцовщицы было печально, но кроме печали оно выражало что-то ещё, что было для Ворона не ясно, но притягательно.

– Я видел, как ты исполняла танец потревоженной змеи, – сказал Ворон. – Это было давно и далеко отсюда.

Лицо женщины обратилось к целителю.

– Я ушибла колено и теперь не могу быть змеей. Что ты делаешь в Трапезунде, черногубый бродяга?

– Я мучаюсь за других людей, и за это мне платят деньги.

Танцовщица, качнув узкими бёдрами, присела рядом с Вороном – вспорхнула лёгкая синяя накидка с серебряной строчкой, вспорхнули волосы, воспламенённые иранской хной и стянутые в хвост серебряным шнурком. Она схватила ладонь Ворона и прижала её к своему животу.

– Я слышала о тебе, Мерван Честный! Твоё имя гремит по базарам мира! Вылечи моё колено, и я клянусь тебе, что ты останешься доволен моей платой.

Танцовщица отвела Ворона на безлюдный морской берег. Там, на песчаной косе, под обрывистой береговой кручей, среди огромных, как черепа драконов, каменных глыб Ворон разбудил свою врачующую силу и исполнил просьбу женщины-змеи. Ему даже не пришлось страдать: ушиб почти не болел и лишь мешал своим остаточным упрямством колену сгибаться.

Там, среди обломков скал, танцовщица выскользнула из синей накидки и самозабвенно отплатила за своё исцеление. Язык её жёг, как горячий уголь, она становилась то грациозной наездницей, то нападающим скорпионом, то насаженным на вертел фазаном, то упоительным удавом, глотающим суслика. Ворон рассматривал татуировку на тех частях мокрого тела, которые одеждой прежде были скрыты: вокруг больших фиолетовых сосков он нашёл свернувшихся пантер, на шелковистых ягодицах встали на дыбы два плосколобых распалённых Аписа, чуть выше войлочного паха разинула зубастую пасть неведомая рыба.

С тех пор время Мервана Честного наполнилось беспокойным однообразием: утром он просыпался с предчувствием желанной и пугающей встречи, и воспоминания о танцовщице всплывали в нём во всю ширь, до содрогания; днём он рыскал по городу в поисках места, где расстелили сегодня свои коврики акробаты, и с замирающим сердцем смотрел на змеиный танец; синее вечернее небо напоминало ему её платье, он закидывал голову и шептал серебряным звёздам-стежкам отчаянные слова; а ночью, забывшись в дремоте, он гладил циновку и улыбался видению – медноволосой возлюбленной с пантерами на груди и зубастой рыбой над холмиком лона. Танцовщица заменила ему собой весь мир, но сама будто забыла целителя. Тщетно Ворон ловил её взгляд – он юрко ускользал, даря блеском лишь тех, кто кидал на коврик деньги за танец.

Из-за душевного смятения Ворон отказывался врачевать. Он сочинил для танцовщицы свою Песнь Песней: ты мой вертоград из кипарисов, пиний, стройных ливанских кедров, хмеля и дивных трепетных полянок; ты – солнечная кора моих деревьев; ты – птицы в их кронах, кошки в их дуплах; ты – пахучая смола, капающая с их ветвей; живот твой похож на счастливое сумасшествие; рот прекрасен, как глубины тёплого моря, и опасен, как гигантская раковина с жемчужиной, способная навеки поймать ныряльщика створками; дыхание твоё чище дыхания лотоса; волосы – пламя и трель свирели Марсия; блеск глаз сравниться может с рождением светила; движения твои – как струйки сандалового дыма; в гроте паха твоего живёт нежная устрица; много удивительных животных живёт в тебе, но чтобы сказать о них, я должен выучить язык какого-нибудь счастливого народа!

Однажды во сне Ворон спел свою песню вслух. Проснулся он от звона браслетов и грохочущего смеха Мервана Лукавого.

– Кому ты посвятил эту эпитафаму? – успокоившись, полюбопытствовал магрибец. – Что до Соломона, то он сочинил свою Песнь из хитроумия – он хотел иметь статую возлюбленной, но опасался надолго оставлять Суламифь со скульптором, поэтому представил ваятелю вместо природы её описание.

В тот миг Ворон был невосприимчив к шутке, он простодушно рассказал колдуну о своей любви.

– Из-за такого дерьма ты отказываешь людям в милосердии?! – воскликнул Мерван. – Возьми вот эту монету и ступай к своей змее – в такой час, я думаю, тебе уже не придётся стоять в очереди.

По ночному Трапезунду, прихрамывая, побрёл Ворон к повозке акробатов. Тощие бездомные собаки призрачно скользили вдоль кривых улочек и сбивались в стаи у мусорных куч. Половина неба была звёздной, как сон божества, другую половину укутывала беспросветная мгла. В повозке Ворон обнаружил спящую танцовщицу – её товарищи ночевали в разбитой неподалёку палатке. Ворон робко разбудил свою возлюбленную и положил ей на ладонь монету. Ощупав ловкими пальцами пришельца, танцовщица молча принялась за дело. Путаясь во влажной от пота простыне, ощущая ток жаркой крови, устремлённый к его чреслам, Ворон думал о том, что в ночном мраке танцовщица не может, ну просто не может видеть его лицо.

Обратную дорогу к пурпурной палатке Ворон нашёл с трудом – глаза его были ослеплены слезами. Что за томительную ноту поёт аорта? Ах, если бы можно было разрезать грудь, вынуть

сердце, промыть и жить дальше! Ах, если б можно было руками вырвать мучительную занозу любви, которая превращает сердце в гнойный источник не жизни, но муки!

Во вторую ночь он опять отправился к повозке акробатов. И в третью. И в четвёртую... После пятой ночи, когда Ворону пришлось долго ждать, пока не устанет трясти повозку опередивший его матрос, он заметил, что остывающее от любви тело танцовщицы пахнет рыбой. После пятой ночи он перестал плакать. Он снова принялся отбирать у людей их страдания.

Он уговорил Мервана уехать из Трапезунда. Именно тогда, перебравшись в Синоп и вылечив там от мелкой хвори несколько зажиточных греков, Ворон наконец расплатился с магрибцем за пролитый над домом горшечника золотой дождь. После этого у него даже остались кое-какие деньги – с их помощью Ворон забывал танцовщицу со всеми шлюхами Синопа по очереди. Он забывал её с хазарками, гречанками, печенежками, болгарками, славянками, персиянками, еврейками, испанками, грузинками, арабками, хорезмийками, нубийками, армянками и женщинами со смешанной кровью. Он забывал её в застеленных бухарскими коврами покоях, куда проводили его блудливые рабыни, и в вонючих помойных ямах, полных луковых очистков и рыбьих потрохов. Кто врёт, что нельзя заниматься *этим* без любви? Можно, очень даже можно, успешно и самозабвенно, и совсем без любви! Трудно заниматься *этим* с любимой, когда любовь твоя не имеет будущего!

Ворон забывал танцовщицу до тех пор, пока однажды Мерван Лукавый не нашёл больного, готового заплатить за исцеление сразу двадцать золотых солидов. Это был чернородый грек, имевший дом с райскими птицами в Синопе, семь кораблей и торговую клиентуру в Суroje, Константинополе, Александрии, Дубровнике, Венеции, Генуе, Арле, Карфагене и Кадисе. Купец томился странным недугом – каждое утро в час восхода солнца в животе его с пронзительной резью лопались ядовитые пузыри и изо рта исходил мутный дымок зловония. Так продолжалось с четверть часа, после чего пузыри укладывались и боль стихала до следующего рассвета.

Объяснив купцу, что в его утробе поселился злой утренний джинн, который с восходом солнца покидает своё жилище, чтобы творить в мире бесчестные дела, а ночью, во время сна, незаметно проникает обратно в купеческое чрево, Мерван Лукавый пригласил страждущего богача явиться в красную палатку целителя в предрассветный час перед зловонным исходом нечестивого духа.

В назначенный срок купец явился. Мерван Лукавый, наряженный в свой бархатный плащ, браслеты и кольца, усадил его на циновку, зажёл магический светильник и бросил в огонь сладкие индийские благовония. Потом он вывел из-за шёлковой занавески Ворона, почистившего после помойной ямы, и представил его как ученика египетских иерофантов, делийских факиров, тибетских знахарей и иранских магов, да-да, знаменитого Мервана Честного, в искусстве врачевания превзошедшего всех своих учителей!

Вскоре взлетели над горизонтом розовые пёрышки зари, и тут же чернородый купец с воем согнулся пополам, будто в живот ему по рукоять вонзили кинжал, а палатку, перевозимая индийские благовония, наполнили вонючие болотные миазмы. Ворон склонился над купцом и примерился к его боли. Недуг оказался податлив – через миг великий целитель Мерван Честный с глухими стонами корчился на циновке, а купец и магрибец в скорбном молчании наблюдали его страдания.

Ворону было так больно, что только теперь он действительно забыл женщину-змею. Через четверть часа ядовитые пузыри улеглись в животе Ворона, и он увидел жуткую перемену в лице купца: словно старый урюк, рассекли его морщины, а смоляная борода стала серой, как волчья шкура. Диво – исцелённый богач постарел по меньшей мере на пятнадцать лет! Значит, вместе с болью он, Мерван Честный, забирает у людей время их болезни, он прибавляет его к своей жизни – куда ещё времени деваться!

Как только купец отсчитал деньги и, счастливый, покинул палатку, Мерван Лукавый жарко прошептал в ухо Ворону:

– Запрягаем мула и бежим отсюда! И будем молить всех богов, чтобы мы успели обратиться раньше, чем эта почтенная развалина добредёт до зеркала!

Выезжая из Синопа, Мерван Лукавый думал с таким усердием, что Ворону было непонятно: то ли ветер свистит в ивовом плетении повозки, то ли мысли в голове магрибца. В полдень колдун сказал, что понял причину предсказанного Ворону долголетия, но ничуть ему не завидует, напротив – готов плакать над его судьбой, ибо дар Ворона равносильен проклятию и уже при жизни обрекает его на вечные муки, в то время как ему, Мервану Лукавому, вечные муки грозят лишь посмертно.

– Тебе придётся сменить имя, – сказал магрибец. – Слава Мервана Честного будет опорожена по всему свету, потому что по всему свету плавают корабли человека, у которого ты отнял половину его закатных лет. К твоему глупому лицу пошло бы имя Рамзее Мудрый. – Колдун наморщил жёлтый лоб. – Впрочем, ты свободный человек и волен сам устраивать свою мучительную жизнь.

Так вторично сменил Ворон имя.

Да, выплатив Мервану деньги и став свободным, с магрибцем Ворон не расстался. Причиной тому была не привычка – постепенно у странника высыхает орган, ответственный за призывание, – присутствие магрибца помогало Ворону переносить боль, к изменчивому облику которой он никак не мог притерпеться, помогало нести горькое бремя избранника судьбы, а в часы праздномыслия подстёгивало его печень качать в жилы лиловую кровь вдохновения.

Взяв на себя долговременный рассветный недуг купца, Рамзее Мудрый продолжал вытягивать из людей болезни. Первым, кого он вылечил после бегства из Синопа, был критский пират, терзаемый зубной болью, – но чудо, боль, вынутая из пирата, в целителя не вонзилась! Причину этого Ворон не понял и простодушно непонятому обрадовался. С тех пор он скитался по свету и, не отягощаясь чужими страданиями, удалял фурункулы за медную мелочь, лечил от укусов тарантула за один тремисс, избавлял от приступов лихорадки за два, отбирал жар и бред у нервногогорячечных за пять, обезвоживал больных водянкой за восемь, зарубцовывал раны, полученные в результате несчастного случая или драки, за полновесный солид, а раны, полученные на поле брани, – за полтора, с детей и бедняков он брал полцены, а с дураков – спасибо. И так тянулось пятнадцать лет, ничуть его не состаривших, а Мервана Лукавого превративших в сварливого, язвительного старика и его, Ворона, содержанца. Все эти пятнадцать лет, за которые Ворон был вынужден четырежды менять имя, каждый восход солнца он встречал проклятиями – пятнадцать лет в животе его ежеутренне надувались и лопались ядовитые пузыри, а изо рта исходило гнилое зловоние. Но когда боль, насытившись, уползала, для Ворона начиналась великая жизнь великого врачевателя. Теперь Ворон и магрибец колесили по дорогам вселенной в прекрасной карете, купленной по случаю у флорентийских Уберти; везли карету изумительные кони, специально доставленные из Каира; управлял конями возница и повар, который прежде три года был христианским аскетом-столпником в Антиохии; вместо выгоревшей красной палатки они разбивали теперь на солнечных площадях роскошный трёхцветный шатёр, устланный багдадскими коврами, дважды в день меняли рубашки из самшуйского шёлка, умасляли тела ароматными бодрящими мазями и тибетскими бальзамами, носили сапоги из мягкой разноцветной кожи и не боялись стражников и властительных самодуров, ибо полагали, что имеют достаточно денег, чтобы чувствовать себя независимыми в сём продажном универсуме.

Но однажды, по прошествии пятнадцати лет после бегства из Синопа, – Ворон жил тогда в Кордове, где брал уроки красноречия у местных риториков, – целитель проснулся со странным чувством перемены. Он не сразу понял, в чём дело. А когда понял, когда искусным витиева-

тым славословием отблагодарил судьбу за то, что нечестивый джинн не вернулся ночью в его чрево, когда хотел разбудить Мервана, чтобы разделить с ним радость, в этот самый миг беспощадно растерзала его счастье жуткая зубная боль. Изнемогающим рассудком Ворон осознал: пятнадцать лет, как в копилку, сыпались в него страдания, сколько их – не считано, и теперь, одно за другим, в кошмарной череде они будут просыпаться в нём, сменяя друг друга, точно инструменты палача в пыточной камере. И так – вечность! Он стал копилкой вечной страдающей жизни!

Ворон был настолько удручён так долго спавшей и вдруг ужалившей его болью критского пирата, настолько опечален своей безрадостной вечностью, что отказал в помощи кордовскому халифу, мучившемуся мигренями. За дерзкий отказ Ворона вместе с безвинным Мерваном посадили в мрачную тюрьму, возведённую ещё при основателе эмирата Абдаррахмане I; деньги и имущество узников отошли в казну, а возница-повар казённым рабом был отправлен с войсками на север противостоять реконкисте.

Просвещённый халиф, покровитель наук и искусств, не стал вырезать зазнавшимся бродягам языки и под пение флейт с живых сдирать кожу. Их бросили в тесную темницу, пропахшую тленом и человеческими испражнениями, с ветхой циновкой на каменном полу и маленьким оконцем, прорубленным выше головы самого высокого человека. Весь день в окно вбивало тонкий луч солнце, весь день стреляли мимо окна ласточки, раз в сутки стражник приносил пищу и менял в кувшине воду. До таких пределов сжался мир узников на долгие годы.

Время шло, один за другим просыпались в Вороне скопленные недуги. Порой, когда целитель не испытывал чрезмерных мучений, смотритель тюрьмы приводил в темницу родных и знакомых, отягощённых какой-нибудь хворью, – Ворон, уступая причитаниям Мервана, не отказывал им в помощи, за что узники получали прибавку к скудной пище вином и фруктами. Смотрителей тюрьмы на памяти Ворона сменилось много.

Мерван Лукавый, постаревший, растративший в скитаниях жизненную силу, Ворону свои старческие болезни лечить не позволял – он не хотел становиться убийцей собственного будущего.

В своём унылом заключении Ворон часто предавался воспоминаниям. Он воскрешал то, что запомнилось ему из опыта прожитых лет. Он вспоминал детские унижения, когда ему, прикованному цепью к гончарному кругу, братья и сёстры кидали обглоданные кости, вспоминал горькую свою любовь, гибкую танцовщицу, – и им, и ей он давно простил всё, что ставилось в вину много лет назад юношеским неискушённым сердцем, но горечь обиды и плач безнадёжного чувства душа воссоздавала отчётливо. Следом приходили светлые картины, однако свет этот шёл не из памяти. Воображение строило несбывшееся продолжение сюжетов – перед вольными и невольными обидчиками являлся Ворон во славе бессмертного властителя людских страданий (жертвой своего дара Ворон себя в такие часы не чувствовал), гордый, щедрый, зла не помнящий, стоял он перед бывшими виновниками своих открытых и тайных, горьких и упоительных унижений, и те (виновники) восклицали в отчаянии: какие же мы были недомки! какая же была я дрянь!

Мервана Лукавого тоже настигала память. Он метался между каменных стен, терзаемый воспоминаниями о девушке, которая была так нежна, так прозрачна и невесома, что могла, точно пушинка, парить в воздухе и, словно призрак, проходить сквозь стены. Но с его стороны это была всего лишь хитрая уловка – магрибец хотел разжалобить смерть любовными вздохами, чтобы прожить больше отмеренного, но смерть не купилась на его трюк. Одним жарким и неподвижным, как печь, летним днём, когда даже в каменной темнице воздух стал похож на изнурённого путника пустыни, давно выпившего последний глоток воды из последнего кувшина, магрибец начал невероятно потеть. Он корчился на циновке, и над ним поднимался душный пар – жаждущий воздух сразу же выпивал всю влагу, оставляя на жёлтой коже Мервана белёсую соляную корку. Его ломала судорога, как ветку, брошенную на горячие угли, он

высыхал на глазах, браслеты и кольца звонко осыпались с его рук, но при этом он не забывал жутко хохотать, обращая зрачки внутрь черепа. Ворону казалось, что от этого дьявольского хохота тюрьма вот-вот рассыплется. К вечеру магрибец затих. Он стал неподвижной мумией, маленькой и твёрдой, точно сушёная рыба, – к вечеру Мерван Лукавый, великий обманщик и чародей, умер, и если бы его не закопали в общей могиле стражники, то, просоленный собственным потом, высушенный жаром страсти, лишённый при жизни права посмертного смрадного разложения, он смог бы донести свой труп, свой затвердевший образ до грядущих поколений через тысячелетия. Так Мерван Лукавый пытался победить время.

Ворон побеждал время по-своему. Он покинул темницу, просидев в заключении чуть больше двухсот лет, покинул после того, как альмохады были изгнаны из Кордовы объединёнными силами Кастилии, Леона, Арагона и Наварры. В то время на вид ему давали лет двадцать.

Таким он вышел на солнечный свет – постигшим, что ничего нет совершенно верного в реальном мире явлений, и, стало быть, уже в начале всякого дела, всякого пути знающим за собой господское право – остановиться, повернуть, возвратиться. Таким он и будет бродить по земле до скончания времён. И когда вздыбится воспалённая Африка, изворотливая Азия, сморщенная Европа и все остальные тверди мира, когда они взовьются и сбросят с себя города и веси, как осиные гнёзда, в пылающую бездну ада, он, Ворон, единственный достигший подобия Великого Мастера, единственный примиривший в себе добро и зло, если и не уцепится за какой-нибудь слабый кустик или не подхватят его ангелы, то, во всяком случае, упадёт он в пламя последним.

1992

Сотворение праха

Иван Коротыжин, по прозвищу Слива, хозяин книжной лавки на 9-й линии, сидел у окна-витрины, умудрённого пыльным чучелом совы, и изучал рисунки скорпиона и баллисты в «Истории» Аммиана Марцеллина. Гравюры были исполнены с необычайной дотошностью – исполать евклидовой геометрии и ньютоновой механике. «Должно быть, немец резал», – решил Коротыжин, копнув пальцем в мясистом носу, действительно похожем на зреющую сливу. За окном прогремел трамвай и сбил Коротыжина с мысли. Он отложил книгу, посмотрел на улицу и понял, что хочет дождя.

Утро было сделано из чего-то скучного. Большинство посетителей без интереса оглядывали прилавки и книжные стеллажи, коротая время до прихода трамвая. Трое купили свежезавезённый двухтомник Гамсуна в несуразном голубом переплёте. Мужчина, похожий на истоптанную кальсонную штрипку, после нервного раздумья отложил «Философию общего дела», предпочтя ей том писем Константина Леонтьева. Сухая дама в очках, залитых стрекозиным перламутром, долго копалась в книжном развале на стеллажах, пока не прижала к отсутствующей груди сборник лирики Катулла – «Academia», MCMXXIX...

Коротыжин достал из-под прилавка электрический чайник и вышел в подсобку к умывальнику. Сегодня он работал один – Нурия Рушановна, счетовод-товаровед, отпросилась утром на празднование татарского сабантуя. Вернувшись в лавку, Коротыжин застал в дверях круглоголового, остриженного под ежа парня в лиловом спортивном костюме. Суставы пальцев на руках физкультурника заросли шершавыми мозолями.

– Привет, Слива, – сказал парень.

Коротыжин оглядел посетителя вскользь, без чувства.

– Чай будешь?

Парень обернулся на застеклённую дверь – лужи на улице ловили с неба капли и, поймав, победно выбрасывали вверх водяные усики.

– А коньяку нет?

– Коньяку?.. – Коротыжин нашёл под прилавком заварник и жестяную кофейную банку, в которой держал чай. – Коньяку нет. Зато чай – настоящий манипури. Последний листочек с утреннего побега... Собирается только вручную – прислал из Чаквы один пламенныйк...

– Кто прислал? – Парень развязно оплыл на стуле.

– Есть такая порода – пламенныеки. Это самоназвание, иначе их зовут «призванные». Живут они сотни лет, как библейские патриархи, и способны творить чудеса, как... те, кто способны творить чудеса.

Парень ухмыльнулся и, не спросив разрешения, закурил.

– Я знаком с одним призванным, – сказал Коротыжин. – Он купил у меня «Голубиную книгу» монашеского рукописного письма и запрещённые для христиан «Стоглавом», богоотреченные и еретические книги «Шестокрыл», «Воронограй», «Зодчий» и «Звездочёт». – Он рукавом смахнул со столика пыль. – А когда пламенныйк увидел «Чин медвежьей охоты», то зарыдал и высморкался в шарф. Я дал ему носовой платок, и с этого началась наша дружба. Он кое-что рассказал о себе... – Коротыжин вдруг встал, подошёл к двери и вывесил табличку «обед». – Дар обрёк его на скитания. Живи он не сходя с места, – при его долголетию в глазах соседей он сделался бы бесом, ведьмаком. Каких земель он только не видал... Но при том, что живёт он куда как долго и может творить чудеса, он остался человеком. Я видел, как он смеётся над августовским чертополохом, покрытым белым пухом – будто намыленным для бритья, – как кривится, вспоминая грязных татарчат в Крымском ханстве Хаджи-Гирея – они позволяли мухам кормиться у своих глаз и губ. Словом, всё-то ему известно: страх, усталость, радость узнавания...

– Слива, ты заливаешь, – сказал парень и осклабился.

– Сносная внутренняя рифма, – отметил Коротыжин. – Первый раз он попал на Русь давно и, должно быть, случайно. А может, и нет – он всегда был любопытен и хотел иметь понятие о всех подлунных странах. Он говорил, что это понятие ему необходимо, дабы провидеть будущее... Вернее, он говорил: вспомнить будущее. Такая сидит в нём вера, что, мол, время мертво и в мёртвой его глыбе давно и неизменно отпечатаны не только судьбы царств, но и извилистые человеческие судьбы. А чтобы понять их, следует просто смотреть вокруг и запоминать увиденное... Словом, выходит, будто судьба наша не то чтобы началась, но уже и кончилась. Не такая уж это и новость... – Из-под крышки заварника в лавку потёк горький аромат высокосортного манипури. – Он был звонарем в Новогороде, юродом в Москве, воинским холопом при владимирском князе, бортником под Рязанью, лекарем у Димитрия Шемяки, бил морского зверя на Гандвике, ходил на медведя в ярославских лесах, кочевал со скоморохами от Ростова до Пскова – всякого покушал... Он даже уходил в монастырь, в затвор. Но отчего-то пошла среди чернецов молва, будто чуден он не по дару благодати, а дьявольским промыслом. Что-де под действием беса говорит он по-гречески, римски, иудейски и на всех языках мира, о которых никто никогда здесь прежде не слышал, что бесовской силой чудеса исцеления являет, с бесовского голоса прозорлив и толкует о вещах и людях, ранее никому не ведомых, что освоил все дьявольские хитрости и овладел пагубной мудростью – умеет летать, ходить по водам, изменять свойства воздуха, наводит ветры, сгущать темь, производить гром и дождь, возмущать море, вредить полям и садам, насылать мор на скот, а на людей – болезни и язвы. Не всё, разумеется, но многое из этого он действительно умеет...

Какой покой наступает, когда думаешь, что цвет детства – цвет колодезной воды, вкус детства – вязущий вкус рябины, запах детства – запах грибов в ивовой корзине. Как делается в душе прозрачно и хорошо. Но об этом почти никогда не думаешь. А говоришь ещё реже. Потому что это никого не касается. Всё равно что пересказывать сны... А они здесь удивительно раскрашены. Красок этих нет ни в сером небе, ни в бедной природе, ни в реденьком свете чего-то с неба поблескивающего. Но не убогость дня рождает цвет под веками – много в мире убогих юдолей, длящихся и в снах. Не красками, но *мыслями о красках* пропитано это место. Кто-то налил по горло в этот город ярчайшие сны. Я вижу, как идёт по тротуару Среднего Нурия Рушановна. Она погружена в обычное своё дурацкое глубокомыслие. Вот достаёт она из сумки банан, гроздь которых я подарил ей по случаю татарского сабантуя, и неторопливо сама с собой рассуждает, немо шевеля губами, что Антон-де Павлович Чехов, не-дай-бог-пожалуй-чего-доброе, был германо-австрийским шпионом, ведь последними словами, которые произнёс он перед смертью, были: «Ихь штербе» – «Я умираю». «Нет, – думает Нурия Рушановна, – фон Книппер-Чеховой не по зубам вербовать классика. Вероятно, Антона Павловича подменили двойником на Сахалине или по пути туда-обратно». Счетовод-товаровед удивляется прыти колбасников и, обходя лужу, словно невзначай роняет на асфальт у дома, где живёт герой моего сна, банановую кожурку. Колготки на суховатых икрах Нурии Рушановны забрызганы капельками грязи. А вот дворник Курослепов – циник и полиглот. Он знает три основных европейских языка плюс португальский и латынь. Курослепов уверен, что лучшие слова, какие можно сказать о любви, звучат так: «Фомин пошёл на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо: „как птичка, как маленький“». Эти слова написаны на обоях его комнаты, над кроватью. Курослепов метёт тротуар у дома, где живёт герой моего сна, который ещё не появился, который появится позже. Метла брызжет в прохожих жидкой грязью. Банановая кожурка не нравится дворнику, он сметает её за поребрик, едва не налепив на замшевый ботинок спешащего господина. Подметая тротуар, Курослепов, разумеется, думает, что занимается не своим делом. Мысль весьма чреватая мышью, возвращён-

ная расхожим заблуждением, будто человек выползает в слизи и крови из мамы для какого-то *своего* дела. Нахальство-то какое... Метла и Курослепов исчезают, как кириллические юсы, куда-то за предел сознания, в архетип, в коллективное бессознательное, что ли, – не помню, что за чем. Они сделали *своё* дело. К тротуару мягко подкатывает девятая модель «Жигулей». За рулём сидит некто, при первом взгляде напоминающий колоду для – хрясь! – разделки туш, то есть вещь грубую, но в своём роде важную. Однако если остановить здесь скольжение взгляда хотя бы до счёта восемь, то на три колода станет шаловливо надутой предохранительной резинкой, на пять – выковырянным из колбасы кусочком жира, а к концу счёта – соринкой в глазу, которую и не разглядеть вовсе, а надо просто смыть. Некто – приятель героя моего сна, который скоро появится. Здесь у них назначена встреча. Они собрались в Апраксин двор покупать патроны для общего – на двоих – пистолета Стечкина. Собственно, цель не важна – пистолета я не увижу, – важна встреча, а причина – почему бы не эта? В той же девятой модели сидит подружка героя моего сна. От бровей до родинки на подбородке лицо её нарисовано: губы, словно из Голландии, – тюльпаном, синие ресницы напоминают порхающих речных стрекоз. В среде естественной стрекозы в парники не залетают. Она – наездница, самозабвенная путешественница. Не раз ночами она скакала в такие дали, что, воротясь, искренне удивлялась – в пути, оказывается, она сменила коня. Герой моего сна об этом не знает, он считает себя бесменным скакуном. Его подружка думает так: «Когда я стану старой, когда голова моя будет сорить перхотью, когда живот мой сползёт вниз, когда на коже появятся угри и лишние пятна – тогда я, пожалуй, расскаюсь и стану дороже сонма праведников, а пока моя кожа туга, как луковица, и, как луковица, светится, я буду развратничать и читать Эммануэль Арсан». Некто и наездница с нарисованным лицом встретились ещё вчера. Но герою моего сна не скажут об этом. Ему соврут, что они встретились... Впрочем, соврать ему не успеют. А вот и герой моего сна. Он выходит из подворотни походкой человека, который ломтик сыра на бутерброде всегда сдвигает к переднему краю. Контур его размыт, подплавлен, словно я смотрю сквозь линзочку и объект не в фокусе. Импрессионизм. Светлые невещественные струйки стекают по контуру к земле, привязывают его к субстанции, словно это такой ходячий памятник. Свет не течёт ни вверх, ни в стороны – герой моего сна заземлён. Кажется, моросит. На миг объект заслоняет девица в куртке от Пьеро – из рукавов торчат лишь кончики пальцев, ногти покрыты зелёным лаком. По странному капризу воображения, персонифицированная Атропос представляется вот такой – хамоватой незрелкой с зелёными ногтями. Герой моего сна подходит к девятой модели «Жигулей» и, глядя на пассажирку, простодушно поднимает брови. Та в ответ целует разделяющий их воздух. «На-ка, поставь», – говорит некто, протягивая над приспущенным стеклом щётки дворников. Герой моего сна склоняется над капотом. Зелёный ноготок судьбы незримо тянется к нему, не указуя, не маня, а так – потрогать: готов ли? «Поторапливайся, – говорит некто, – а не то умыкну твоего пупса...» – и шутливо газует на нейтрале. Герой моего сна весело пружинит в боевой стойке, как выпущенный из табакерки чёрт, и тут невзначай наступает на банановую кожурку. Кроссовка преступно скользит, нога взмывает вверх, следом – другая, руки беспомощно загребают воздух, будто он пытается плыть на спине, и герой моего сна с размаху грохается навзничь. Голова с тяжёлым треском бьётся о гранитный поребрик. Удар очень сильный. На сыром тёмно-сером граните появляется алая лужица. Пожалуй, в этом есть какая-то варварская красота. Герой моего сна без сознания. Он жив.

– А сам-то? – спросил парень, трудно улыбаясь. – Сам-то веришь в этих... этих...

– Призванных? Разумеется, – сказал Коротыжин. – Ты пьёшь чай, который прислал один из них.

– Кто ж их призвал? За каким бесом?

– Кто? – Коротыжин поднёс к губам чашку – на глади чая то и дело взвивалась и рассеивалась белёсая дымка. – Должно быть, часть той части, что прежде была всем. Как там у тай-

ного советника: «Ихь бин айн тайль дес тайльс, дер анфангс аллее вар». Лукавый язык. На слух – бранится человек, а поди ж ты... Так вот, кто и зачем – это тайна. Знакомый мой пламенник говорил, что таких, как он, – не один десяток и что действует некий закон вытеснения их в особую касту: отличие от окружающих, непонимание и враждебность с их стороны заставляют призванных менять место и образ жизни до тех пор, пока они не сходятся с подобными. – Снаружи неслась водяная кутерьма, брызги от проезжающих машин долетали до стекла витрины и растекались по нему широким гребнем. – Есть у пламенников особое место, как бы штаб или совет, там, в специальной комнате, на стенах висят портреты, написанные с каждого его собственной кровью. Стоит кому-то открыть тайну, вроде того – кем и зачем призваны, как сразу портрет почернеет. И тогда достаточно выстрелить в портрет или проткнуть его ножом, и пламенник тотчас умрёт, где бы он ни находился.

– Розенкрейцера соната... – Парень отпил из чашки и поморщился. – Сахар у тебя есть?

Коротыжин достал из-под прилавка майонезную баночку с сахаром Нурии Рушановны. Сам Коротыжин чай никогда не сластил – он находил, что сахар прогоняет из напитка чудо, которое в нём есть.

– Так вот, – сказал Коротыжин. – Моего пламенника в Московии сильно увлекла медвежья охота. К этому ремеслу он подступил ещё в пору бортничества – над крышей колоды подвешивался на верёвке здоровенный чурбан, который тем сильнее бил медведя в лоб, чем сильнее тот отпихивал его лапами. Так – разбивая в кровь морду – доводил упрямый зверь себя до изнеможения. Или готовился специальный лабазец – сунет медведь лапу в щель, пощупает соты, а тут – бымс! – захлопнется доска с шипами, и как зверь ни бейся, погибает дурацкой смертью: разбивает ему ловец задницу палкой, отчего вмиг пропадает медвежья сила... – При известии о медвежьей слабинке парень прыснул в чай. – Я знаю об этом отчасти со слов пламенника, отчасти из книги «Чин медвежьей охоты», которую написал тот же пламенник в бытность свою пестуном у княжичей в Суздале.

Разумеется, капканы были баловством – настоящая охота начиналась тогда, когда мужики ловили зайца и с рогатинами шли к берлоге. У берлоги начинали зайца щипать – медведь заячьего писку не выносит – и тем подымали зверя. Вставал мохнач, разметав валежник, на дыбы, и тут кто посмелее, изловчась, чтобы зверь не вышиб и не переломил рогатину, всаживал остриё медведю под самую ложечку. Зверь подымал рёв на весь лес, а ловец упирал рогатину в первый корень и был таков, – медведь же, чем больше бился и хватался когтями за рогатину, тем глубже загонял остриё в своё тело. Оставалось добычу ножами добить и поделить по уговору... Но если упустят ловцы медведя, то нет тогда зверя ужасней на свете – всю зиму он уже не ложится, лютует, ломает людей и скот, выедаёт коровам вымя...

– И долго?... – Парень сглотнул, будто вернул в глотку грубоватое для слизистой слово. – Долго твой призванный небо коптит?

– Вот смотри... – Коротыжин шаркнул к стеллажу и снял с полки пухленький том в шестнадцатую долю листа.

– Пламенник написал это в пятнадцатом веке на русском, – сказал Коротыжин. – Впоследствии, проживая в Италии, он перевёл рукопись на латынь и преподнёс папе Пию II как документ, позволяющий глубже постичь упрямый оплот греческой схизмы. Книга была издана в папской типографии. С неё и сделан обратный перевод на русский, так как оригинал утрачен. – Коротыжин отложил матово-бурый, в потёках, том. – Ну а что с ним было до пятнадцатого века, пламенник рассказывать не любит. Ещё я знаю, что он посильно помогал Пискатору в составлении карты Московии...

– А про медведей – всё? – Из пачки проклюнулась вторая сигарета.

– Отчего же... Казалось бы, что ему медведь – он мог шутя заставить зверя служить себе, лишь начертав в воздухе знак, мог убить его заклятьем, но он хотел испытать над ним не победу своей таинственной силы, а честную победу того, что было в нём человеческим. Завалив с десятков медведей ватагой, пламенник принялся ходить на зверя один на один. Готовился загодя – собирал сколько мог телячьих пузырей и сыромятной кожи, обтягивал ими затылок, шею и плечи, залезал в протопленную печь и сидел там, пока не ссыхались на нём доспехи тяжёлой бронёй. Потом два дня точил широкий обоюдоострый нож, привязывал его крепко-накрепко ремешком к руке, надевал на броню полушубок, подхватывал рогатину и шёл к берлоге или на медвежью тропу, где мохнач ревел по зорям. Зверь, чутьём врага узнав, вставал на дыбы и кидался на ловца, – тут впивалась ему в грудь рогатина и сердила до последней меры. Пока медведь свирепствовал, боролся с рогатиной, с корнями вырывал кусты и зашвыривал их в пространство, пламенник укрывался за деревом и караулил удобную минуту. А как подкараулит, заслонит лицо локтем, бросится на зверя и порет ему ножом шкуру от ключицы до клочка хвоста, пока не вывалится потроха. Страшно, а что делать – отступи только, медведь задерёт и высосет мозги. – Коротыжнин смочил горло чаем. – Так и действовал всякий матёрый медвежатник и так ходил один на один, пока не заваливал тридцатого медведя. А после тридцатого перестаёт страх бить в сердце, и никакой медведь больше не уйдёт и не поломаёт.

Коротыжнин замолчал, щёлкнул линзочкой ногтя по чашке и посмотрел за окно, где струи дождя от полноты сил сделались матовыми, непрозрачными.

Мне есть что не любить в жизни – волоски, прилипшие ко дну и стенкам ванны, потные ладони скупердяя, бездарное соитие дневного света с охрой электричества, своё лицо, будто сочинённое Арчимбольдо, воздух, от присутствия известной породы тварей тусклый и излишне плотный. Тем не менее следует признать, что в окружающем пространстве героя моего сна определённно почти не осталось. Он словно бы умалился, стоял, как запотевшее от дыхания пятно на стекле. Называя его героем моего сна, я уже делаю усилие – разглядеть его стоит труда. Разглядываемый – инвалид, клинический дурачок, он живёт с семьёй своей сестры и совершает странные прогулки, не выходя, скажем, из журчащих удобств. Он спускается под землю, в тайные лабиринты неведомых храмов, блуждает по мерцающим норам, видит чёрные озёра, скрижали с загадочными письменами, уснувших до благодатных времён титанов, горы изумрудов и сторожевых при них котов. А иногда душа его, скреплённая с покинутым телом серебряной ниткой, воспаряет в горние миры и постигает тайное, но прозрения, как визуальный эффект молнии, повествовательно невыразимы. Случается, правда, что фигурки в шафрановых одеждах, те, что притягивают за серебряную нитку душу, словно воздушного змея, обратно, делают своё дело нерадиво – тогда герой моего сна становится саламандрой, огонь манит его, он – хозяин огня, его дух, но сестре не нравится метаморфоза, и она отправляет саламандру пожить в Коломну, в выходящий окнами сразу на две реки дом. В этом доме полы шестнадцатого отделения покрыты кремовым линолеумом, окна зарешечены, а на обед дают галоперидол и жареную рыбу с трудно отстающим от скелета мя... тем, что покрывает рыбы кости. Перед обедом гостям позволено клеить в столовой коробочки под наборы пластилина. Героя моего сна к этой работе не допускают, потому что он без всякой меры пьёт крахмальный клейстер. Кстати, вечером в столовой можно смотреть телевизор. Информация не включает в себе облегчения и света – просто что-то же должно быть кстати. Врач, заведующий шестнадцатым отделением, чьё лицо мне весьма знакомо, встречался с героем моего сна до того, как тот поскользнулся на банановой кожуре, но оба этого не помнят. Я вижу их встречу так. Весна. Восьмое марта. Пятница, что, впрочем, не важно. Герой моего сна вместе с приятелем, владельцем девятой модели «Жигулей» (он же «некто»), без особого дела едет по Английскому проспекту. На углу Офицерской, у кафе-мороженого, машина, клюнув носом, тормозит перед голосующей рукой. Владелец руки и есть зав. шестнадцатым отделением. Машина

медленно, решительно не соответствуя бойкой музычке, что насвистывает в салоне приемник, катит по разухабистой Офицерской. Кругом вздыблены трамвайные рельсы, гнилые обломки шпал, разбросаны невпопад бетонные кольца и прочая канализационная бижутерия. Слово «ремонт» зловеще щетинится во рту, из нейтрального становится едким, как скипидар, – не произнося, его следует выплюнуть. «Это не улица, – говорит некто, – это рак матки, это запущенный триппер». – «Таков весь мир, – говорит зав. шестнадцатым отделением, мотаясь на кренящемся сиденье из стороны в сторону. – В общем-то, весь мир похож на старый лифт, в котором нагадил спаниель, наблевал сосед Валера и семиклассник с четвёртого этажа нацарапал голую бабу, но лифт тем не менее ездит вверх-вниз». Машина наконец сворачивает на Лермонтовский и по мокрому, лоснящемуся асфальту – на вид ему вроде бы следует пахнуть дёгтем, – мимо витого, как раковина, шелома синагоги, мимо обескрещенных луковок (церковные луковки, в вас поволжский немец разглядел символ луковой русской жизни) церкви Священномученика Исидора Юрьевского, рассекая перламутровую весеннюю дымку, летит к Садовой. «Странно, восьмого марта закрыт музей поэта, написавшего стихи о Прекрасной Даме. Вы не находите это нелепым? – После риторического вопроса следует риторический ответ – зав. шестнадцатым отделением протягивает герою моего сна фотографию. – Вот. Из личного архива. Хотел подарить музею». Фотография наклеена на плотное паспарту, помеченное на обороте овальным штампом: «С.-Петербургъ, „Ненадо“, В. О., 6 линия, 28». От руки орешковыми чернилами, почти не выцветшими в здешней сырости, дописано: «1911 годъ». На снимке – павильон фотографического ателье, задник задрапирован тканью, в центре стоит одноногий, в стиле модерн, столик, за которым по одну сторону с выражением удивления на протяжном лице сидит Александр Блок, а по другую, закинув ногу на ногу, выставив из-под брючины вызывающе белый носок, красиво улыбается объективу зав. шестнадцатым отделением. «Вы очень похожи на своего дедушку», – говорит герой моего сна, возвращая снимок. «Здесь каждый похож на себя. – Хозяин карточки обижен, как домочадец, принятый гостем за прислугу. – Мы с Александром Александровичем прошли весь Васильевский остров, прежде чем нашли ателье, которым владел русский – у немцев и евреев Блок сниматься отказывался». Воздух заполняется сухим электричеством, энергией отчуждения, которая относится к влажному электричеству, энергии карнавального амикошонства, как отчество к имени, как веко к глазу – так вроде бы. Кроме того, первое едва-едва потрескивает, а последнее смотрит по сторонам в поисках чего-нибудь голого. Потом приехали, куда ехали, и пассажир вышел. Зав. шестнадцатым отделением не помнит этой встречи, потому что считает, что его голова не мусорный ящик, но вспомнил бы, подвернись случай (потускневшее, словно оно абажур, под которым с потерей ватт сменили лампочку, лицо саламандры таким случаем не явилось). Герой моего сна не помнит эту встречу, потому что при ударе о гранитный поребрик просыпал сквозь прореху в черепе свою предыдущую жизнь. Он как бы вновь родился, но за грехи – тварью страдающей. Итак, все вроде бы на месте, все расставлены в надлежащем порядке. Чуть смазывает картину муть естественной избыточности жизни, планктон бытия, зыбь параллельных возможностей и необязательности происходящего, пусть их смазывают – без них куда же? Я вижу героя моего сна сквозь туман его желаний. В ванне воды – по кромку. Градусов сорок. Герой в воде по самый нос, глаза его прикрыты, а душа – душа высоко летит, почти слепая от света. Шафрановые человечки сверяются со временем, с чем-то, что его меряет, и решают тянуть нить, решают, что душа героя моего сна нагулялась. Однако нынче они нерадивы – серебряная нитка срывается с какого-то блока и со скрежетом, рывками мотается на ось – не на то, на что следует. Словно рак-отшельник с мягким брюшком, душа без раковины тела пуглива и до обморока впечатлительна, она возвращается потрёпанной и не узнаёт себя: она видит себя саламандрой и требует смены среды. Герой моего сна открывает глаза, слепые, как жидкое мыло, вылезает из ванны, идёт на кухню и зажигает на плите все конфорки... Герой моего сна открывает глаза – вода доходит ему до носа, – вылезает из ванны и, как туча, оставляя за собой дождь, идёт на

кухню, где зажигает на плите все конфорки... Глаза героя моего сна открыты, они похожи на жидкое мыло, он подымает красивое тело из ванны, как туча, оставляя за собой дождь, идёт по пустой квартире на кухню, зажигает на плите все конфорки и, ухватившись руками за решётку, бросает лицо в огонь. Кожа лопаётся раньше, чем затлевают мокрые волосы. Удивительно, но он не кричит.

– Что дуло залепил?

– В Купчине открылся клуб породного собаководства «Диоген», – сказал Коротыжин.

– Ну и что?

Коротыжин прищурился и за шторкой ресниц обнаружил пену, сообщество пустот, прозу, составленную из сюжетов и восклицательных знаков.

– Не скачи, как тушкан, – сказал парень, – досказывай.

Ветхий кожаный том вновь оказался в руках Коротыжина и с тихим хрустом разломился.

– Но самое ценное в этом труде не руководства по практике медвежьей охоты, не способы добычи чудодейственного медвежьего молока, не рассказы о сожительстве вдовиц с мохначами и об оборотнях, у таких вдовиц рождающихся, а ряд советов, полезных и ныне, о том, как вести себя при встрече с лесным хозяином. – Коротыжин утвердил палец на нужном месте. – Совет первый: «Притворись мёртвым, дабы князь лесной, стервой брезгующий, погнушался тобою, лапою пнув. Оное притворство требует выдержки немалой, но живот твой выручит и от увечий тяжких избавит; гляди только – пластайся, пока сам в чаще не пропал, потому, коли узрит обман, никаким мытом уже не откупитися и новым обманом живота не отстояти». Совет второй: «Ащё повстречав зверя сего в лесу берёзовом или разнодеревном, оборотись окрест и пригляди берёзу к взлазу годную, на оную берёзу взлазь и терпи, покуда медведь восвоюсь не отойдёт. Берёзна кора гладкая, в баловном малолетстве медвежатки на те берёзы лазают и с них крепко падают – науку оную до старости поминают и тебя с берёзы имати не станут и в соблазн не войдут». – В глазах Коротыжина блеснули светлые лучики. – А это точно про нас... «Ащё при встрече с сим зверем, коли будет близ скала или валун великой, то вокруг оной скалы или валуна от зверя кружити следует и в хвост ему выйти. Князь лесной след берёт по чутью, на нос, и в недоумии зверином не ведает, как кругом идёт, и разумети не может, каково бы оборотитися или встать обождать. Зверь сей силою в лапах и когтях зело богат, да дыхом слаб и сердцем недюжен, посему, в хвосте у медведя идучи, как услышишь одых хрипом, ступай смело, каким путём лучится, потому зверь сердцем сник и погоню сей миг бросит». А дальше... – Книга в руках Коротыжина захлопнулась. – Дальше пламенник делится кое-какими секретами ворожбы и говорит, что при встрече с косолапым кстати может оказаться клубок просмоленной верёвки, заговорённый печёрским ведьмаком оберег, сухая известь, вываренный крестец летучей мыши, серебряная откупная гривна, печень стерлядки, нетоптаная чёрная курица и... кажется, всё. Но с таким багажом встретить мишку – случай редкий. Так-то вот. В тот раз выходил пламенник из Руси под личиной княжеского посла со свитой из переодетых скоморохов. Путь держал через улус Джучиев и державу Тимуридов – хотел осмотреть судьбу всяких пределов...

– Слушай, Слива, – сказал вдруг парень, – а кто в штабе у этих призванных портреты сторожит? Тот, стало быть, и атаман, раз жизням их хозяин?

Коротыжин на миг задумался.

– Нет, – сказал он, – не атаман. Ему, конечно, от пламенников уважение, но в дела всякого призванного сторож не допущен. Да и портреты заговорённые – если пламенник тайны хранит, а портрет кто-то ножиком тычет, тот сам и окочурится. Сторожу это известно.

Дождь за окном ослаб. Осовелая витрина смотрела на стучащий мимо трамвай.

– Что же, и судьбы читать твой пламенник научился?

– А как же, – сказал Коротыжин. – Дело-то пустяковое – они ведь уже кончились.

– Сам, что ли, пробовал? – Трудная улыбка вновь осела на круглом лице парня. – А скажи-ка мне, Слива...

– Пожалуйста. Смерть твоя, в продолжение жизни, будет дурацкой. Ты поскользнёшься на банановой шкурке и проломишь череп о поребрик. Из больницы ты выйдешь идиотом и остаток дней поделишь между домом и набережной Пряжки. Твоего лечащего врача будут звать Степан Периклесович – он тоже пламенный... А однажды ты сожжёшь лицо на газовой плите и через три дня умрёшь в больничной палате, потому что гной из твоих глазниц прорвётся в мозг. – Коротыжин плеснул в опустевшую чашку медной заварки. – А когда всё это будет, не скажу. Смысла нет – это уже случилось.

Лицо парня плавно отвердело, словно оно было воск и его сняли с огня. За окном матовая занавесь раздёрнулась, и теперь лишь редкие капли шлёпались в лужи со светлеющего неба.

– Хамишь, Слива, – нехорошо сказал парень. – Ну вот что... школьная задачка – прежнее на полтора умножь. Теперь так будет. Шевелись, говорун!

– Помилуй, – спокойно сказал Коротыжин. – Я масспродукта не держу. Наркотиков всяких из целлюлозы и типографской краски...

– Теперь так будет, – повторил парень. Лицо его было твёрдым, казалось – сейчас посыплется крошкой. – Товар твой – и вправду дрянь. Но раз аренду тянешь, так и за покой плати – а то, гляди, выгорит лавчонка... – Парень оттолкнул свою чашку, та стукнулась о заварник и едва не опрокинулась. – А не по карману – место не занимай. Насосанные люди осядут.

Коротыжин встал, сыро пробурчал под нос: «Тупо сковано – не наточишь...» – и отправился в комнату за подсобкой, где оформлял торговые сделки и хранил в сейфе документы и выручку. Спустя минуту на журнальный столик легли четыре пачки денег. Две – сиреневые, две – розовые. Букеты не пахли. Парень взял деньги, взвесил в руке и, доверяя банковской оплётке, без счёта сунул в карман спортивной куртки.

– Спасибо за чай, – сказал он. – Привет пламеннику...

Парень подошёл к двери, на улице – вполоборота круглой головы – плюнул в лужу. Зевотно глядя вослед посетителю, Коротыжин снял со стекла табличку «обед», вспомнил про оставленный открытым сейф и направился в глубь лавки.

Дверь в комнату была обита листовым дюралем и снабжена надёжным замком. На трёх стенах в один ряд висели старые, обрамлённые чёрными багетами портреты, писанные, похоже, кошенилью по желтоватой и плотной хлопковой бумаге. Посреди пустого стола лежала пара спелых, уже чуть крапчатых, как обрезы старых книг, бананов – остаток грозди, купленной утром по случаю татарского сабантуя в подарок Нурие Рушановне.

Прежде чем закрыть сейф, Иван Коротыжин по прозвищу Слива сунул руку в его выставленную сукном утробу, вытащил из-под флакона штемпельной краски тетрадь в синем бархатном переплёте и сделал запись под четырёхзначным номером: «Солярный миф Моцарта – Гелиос улыбочивый, свершающий по небу ежедневные прогулки; солярный миф Сальери – потный Сизиф, катящий на купол мира солнце».

Тот, что кольцует ангелов

Когда мы впервые встретились с Ё (случилось это в гостях на чьём-то – кажется, коллективном – дне рождения), он был высоким, худощавым и неуместно задумчивым студентом фармакологического института. В комнате было шумно и по-кухонному душно. В какой-то момент, пожалуй что случайно, мы очутились вместе с Ё на небольшом балконе, увитом кованой растительной оградой. Внизу отстранённо гудела щель Троицкой улицы. Используя раскрытый бутон чёрного железного цветка как пепельницу, Ё молча курил маленькую сигарету, над угольком которой вился сизый табачный дымок со странным сладковато-пряным запахом. Наше необязательное замечание, что вечерний Петербург в любую погоду вызывает ощущение brutальной душевной неустроенности, повергло Ё в странную серьёзность, слегка приоткрывшую диковинный строй его мыслей. «Дома и улицы городов больше не благоухают, – сказал он. – Вечером это особенно заметно». Подумав, Ё решил пояснить мысль немногословным и весьма категоричным по тону дополнением – запахи жертвенников, ароматы благовоний и воскурений питают не только богов, но тела и души смертных.

На карнизе соседнего дома зобастый сизарь обтанцовывал голубку. Нам стало интересно, связаны ли мысли Ё с его будущей профессией, но оказалось, что медицинская сторона вопроса – одна из многих, есть ещё сакральная, философская, оккультная, кулинарная, косметическая и социальная, – собственно, древние и не проводили строгого различия между лекарственными и ароматическими травами, благовониями и фимиамами, наркотиками и специями, между растениями, питающими человека и небожителя, и косметическими средствами для обольщения мужчин и богов... В комнате взорвалось шампанское, и всех позвали к столу.

Впоследствии, когда мы и сами уже о многом догадывались, в руки нам попала тетрадь с записями Ё (по мнению большинства знавших его лиц, Ё тогда уже умер). Содержание тетради нельзя отнести ни к разряду дневниковых, ни к разряду рабочих заметок – на первый взгляд оно состоит из случайного набора цитат без указания источника, пересказов прочитанного или услышанного и собственно мыслей Ё, носящих, как правило, гипотетический характер. Однако после некоторого изучения мнимая бессвязность начинает обретать вид стягивающихся тенёт – сложной взаимосвязи, нити которой перекинуты от фрагмента к фрагменту с пропусками, возвратами и крупными ячеями, куда соскальзывает лишнее, – взаимосвязи, основанной на поступательном развитии мысли, постигающей эзотерику запаха. Дабы нагляднее показать эволюцию дела Ё, мы позволим себе время от времени цитировать избранные места из этой тетради. В приводимых отрывках отсутствует фармакопея упоминаемых, подчас крайне опасных, средств (найти рабочие записи Ё до сих пор не удалось), так что обвинения в безответственности и даже преступности их публикации не могут быть приняты.

– Счастливым было их прибытие в страну Пунт. По повелению бога богов Амона они доставили разные ценности из этой страны. В Пунте можно запастись благовониями в любом количестве. Было взято много благовонной смолы и свежей мирры, эбенового дерева, слоновой кости и чистого золота страны Аму, а также краска для глаз, обезьяны с пёсыми головами и длиннохвостые обезьяны, ветровые собаки, шкуры леопардов и местные жители с детьми.

– Старик высек огонь и, свернув из бумаги трубочку с лекарственным порошком, окурил студенту обе ноги, а затем велел ему встать. И у студента не только совершенно прекратились боли, но он почувствовал себя крепче и здоровее обыкновенного.

– В китайских источниках есть сведения о ввозе из Индии и Среднего Востока благовонных веществ для ритуальных, кулинарных и медицинских целей. В древнем Китае бытовали легенды об ароматических веществах Индокитая, где деревья источали бальзамы и паху-

чие смолы. Ещё до эпохи Тан снаряжались императорские экспедиции к берегам Сиамского залива на поиски дерева, представляющего, по легенде, универсальное ароматическое растение: корни – сандал, ствол – камфорный лавр, ветви – алоэ, соцветия – камедь, плоды – бергамот, листья – амбра, смола – ладан.

– От ран: возьми дрожжей, да вина горелого, да ладану, да набить яиц куречьих и мазать раны.

– Аще у кого душа займётца напрасно, язык отгыметца – зажечи две свечи воцаны с подмесио аравейской мирры, да погасите одна и подкурити под нос, пременяя.

– Если верить Геродоту, Аравия – единственная область, где производились ладан, миро, кассия, лауданум. Однако география искусства, вероятно, была шире и охватывала Индию и Северную Африку.

Нам доподлинно известно, что по окончании института Ъ несколько лет служил провизором в аптеке, занимавшей угол дома на перекрестье отстроенных пленными немцами улиц. Этот имперский район надёжной корой покрыл ствол Московского проспекта от Благодатной до Алтайской, и он нам, безусловно, нравится, иначе чего бы стоила наша любовь к Египту. От метро к аптеке следовало идти вдоль аккуратно разбитого садика, людного, но отраднo уместного в здешнем ландшафте, – сквер не был тут гостем, поэтому мог позволить себе треснувшие плиты на дорожках и поваленную у скамейки урну. По правую руку, за односторонним потоком троллейбусов и легковых, лежала, словно замшевая, пустынная гравийная площадь с государственной бронзой посередине. Голубые ёлки по её краю всегда выглядели немного пыльными. Окна аптеки выходили на боковое крыло огромного дома с гранитным цоколем, массивными полуколоннами и скульптурным (индустриальные победы) фризом, разглядывая который прохожему в шляпе приходилось шляпу придерживать. За полированным деревом прилавков, в застеклённых шкафах царил неумолимый аптечный порядок – мази и грелки, микстуры в пузырьках и пилюли в картонных коробках, касторовое масло и бычья желчь, бандажные пояса и горчичные пластыри томились природной готовностью немедленно услужить. Дальше начинались владения Ъ.

В провизорской работали человека три-четыре, однако у Ъ был свой, отгороженный от остальных угол, что говорило о признанной независимости и особости его положения. Ко всему, в числе сотрудников аптеки он оказался единственным мужчиной, и это, в известной мере, изначально выделило его из среды. Ъ практически не исполнял своих прямых обязанностей (обеспечение рецептов) – его работу можно было назвать сугубо исследовательской, что, разумеется, делало её внеположной для такого хрестоматийного учреждения, как аптека. Со слов Ъ нам известно, что вначале заведующая выговаривала ему за посторонние занятия, но их отношения быстро наладились – кажением какой-то зелёной пыли Ъ в полчаса свёл с её глаза врождённое бельмо.

Помещение провизорской всякий раз встречало нас смесью столь экзотических запахов, что невольно вспоминались рассказы о кораблях с ладаном, которые сжигал Нерон при погребении Поппеи, или о «столе благовоний» императора Гуан Цуня. При входе мы надевали белый гостевой халат и, заискивающе улыбаясь сотрудницам (формально посторонние в провизорскую не допускались), следовали в ароматный закуток Ъ, внутренне холодея от колеблемых аптечных весов и непоколебимых шкафов, от обилия стекла и неестественной чистоты поверхностей. Хозяин закутка неизменно пребывал в одном из двух присущих ему состояний – он или что-то дробил в фарфоровой ступке, отмерял на весах, вязко помешивал в чашке Петри, топил на спиртовке, попутно делая в потрёпанном блокноте быстрые записи, или с удивительной отстранённостью смотрел в стену и был совершенно невосприимчив к внешним раздражителям, – в последнем случае нам приходилось подолгу ждать, когда Ъ обратит на нас внимание.

Нет, мы не были с Ъ друзьями. Пожалуй, мы вообще не знаем человека, которого можно было бы назвать его другом. Нам просто нравилось под каким-нибудь пустячным предлогом – прыщ, несварение, насморк – приходить в провизорскую и, глядя на работу Ъ, говорить о величии Египта, который в неоспоримой гордыне «я был» и в кристальном знании «я буду» строил свои гробницы и храмы из тысячелетий былого и грядущего, в то время как зябкая, дрожащая надежда «я есть» никогда не имела в своём распоряжении ничего прочнее фанеры. Ъ подносил к нашему носу баночку с чем-то влажным, отчего в минуту проходил насморк, и с убедительными подробностями перечислял шестнадцать компонентов благовония «куфи», которым египтяне умилоствовали Ра.

– Индийские священные книги учат, что растения обладают скрытым сознанием, что они способны испытывать наслаждение и страдание.

*– Дон Хуан связывал использование *Datura innoxia* и *Psilocybe mexicana* с приобретением силы; которую он называл гуахо, а *Lophophora williamsii* – с приобретением мудрости, то есть знания правильного образа жизни.*

– Возможно, тела и души растений способны передавать телам и душам людей то, чего последние не имеют.

*– Дым *Banisteriopsis saarp* давал восхитительный аромат тонких благовоний, и каждая затяжка вызывала медленный чарующий поток изысканных галлюцинаций...*

– Египетские боги были капризны: в списке товаров; затребованных Рамзесом III, говорилось, что цвет благовоний может меняться только от облачного янтарно-жёлтого до похожего на лунный свет призрачного бледно-зелёного.

– У «чёртовой травки» четыре головы. Важнейшая голова – корень. Через корень овладевают силой «чёртовой травки». Стебель и листья – голова, исцеляющая болезни. Третья голова – цветы; с её помощью сводят людей с ума, лишают воли и даже убивают. Семена – это четвёртая, самая могучая голова. Они – единственная часть «чёртовой травки», способная укрепить человеческое сердце.

Разговоры, которые Ъ заводил с нами первым, неизменно тем или иным образом касались различных свойств запахов. Другие темы оставляли его безучастным. В мировоззрении Ъ – восстановимом теперь по отдельным высказываниям и записям лишь приблизительно – теория запахов занимала важнейшее место и в своем дискурсе подводила к основам модели бытия, решительно отличной от общепринятой. Надеемся, это станет ясно по мере приближения к тому неочевидному (имеются одни косвенные свидетельства) моменту, когда Ъ, по примеру Эпименида и Пифагора, а также иных людей божественного дарования, достиг той стадии совершенства, при которой человек перестаёт нуждаться в пище и поддерживает жизнь только ароматами, насыщаясь ими подобно бессмертным.

Однажды Ъ рассказал нам о Лукусте, изобретательнице ядов, за услугу в отравлении Британика получившей от Нерона богатые поместья и право иметь учеников: в её распоряжении были составы, убивающие запахом, – их подкладывали в шкатулки с драгоценностями и прятали в букеты цветов. Есть сведения, что и Калигула, знавший толк в роскоши, придумавший купания в благовонных маслах, горячих и холодных, питье драгоценных жемчужин, растворённых в уксусе, рассыпание в залах со штучными потолками и поворотными плитами цветов и рассеивание сквозь дырочки ароматов, тоже имел в арсенале запахи-яды: после его смерти Клавдий, не зная предела злодейству предшественника, запретил вскрывать лари и шкатулки с личными вещами Калигулы. Вещи выкинули в море – и действительно, зараза была в них такая, что окрестные берега пришлось расчищать от дохлой рыбы. Что касается времён не столь давних, то, по свидетельству китайского хрониста Мэньни таньху ке (псевдоним означает «Смельчак», а дословно переводится как «Ловящий вшей при разговоре с тигром»), импера-

трица Цыси использовала по своим прихотям многие яды, среди которых были и такие, что от одного их запаха люди превращались в скользкую лужицу.

Мы удивлялись целеустремлённости познаний Ъ. В самом деле, грань между лекарством и ядом столь зыбка, изысканна и подчас полна стольких тайн и мистических откровений, что постижение её для всякой тонкой и пытливой натуры – немалое искушение. Как нам стало известно после пронизанных сквозняками библиотечных бдений, именно на этой грани проживается мистерия жизни-смерти-воскресения. В дельфийских, элевсинских, орфических и самофракийских мистериях, в египетских мистериях на острове Филэ бог, упорствуя в своей судьбе, умирает и воскресает, – но есть ведь ещё и посвящённые, которые умирают и воскресают вместе с ним! У нас не было достаточного эзотерического опыта, чтобы понять, как это происходит. Версию объяснения мы нашли в никем до нас не читанном (удивительно – пришлось разрезать страницы) библиотечном томе И. Б. Стрельцова «Значение галлюциногенных растений в некоторых архаических культурах и консервативных мистических культурах», где, в частности, говорилось: «Есть ли сила, способствующая забвению личного исторического времени, индивидуальной земной меры посвящённого, способствующая переходу его в иную меру, – время мифическое, объективно совпадающее с экстазом? Допустимо предположить, что начальным возбуждающим фактором, сопутствующим экстатической технике, которая материализует миф в индивидуальном сознании, могла быть хаома. Это галлюциногенное растение, которое, согласно иранским источникам (Плутарх также свидетельствует, что жрецы, измельчая в ступке хаому, вызывают тем самым Аримана, бога тьмы), позволяет переступить обычный порог восприятия и отправиться в мистическое путешествие, способно вознести посвящённого в грозную и чарующую метафизическую сферу».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.